

Джон Голсуорси

Фриленды

*Свобода
торжественный
праздник.*

Р. Бернс

ПРОЛОГ

Как-то в начале апреля в Вустершире по единственной полосе земли, не поросшей травой, медленно двигался человек и сеял плавными взмахами сильной загорелой волосатой руки; роста он был высокого и широк в плечах. На нем не было ни куртки, ни шляпы; полы расстегнутой безрукавки, надетой поверх ситцевой рубахи в синюю клетку, хлопали по перетянутым поясом плисовым штанам, цветом своим напоминавшим его квадратное светло-коричневое лицо и пыльные волосы. Взгляд у него был грустный, рассеянный и в то же время напряженный, как у больных падучей, губы мясистые, и, если бы не тоскливое выражение глаз, лицо могло бы показаться грубым и чуть ли не животным. Его словно угнетала царящая вокруг тишина. На фоне белесого неба темнели окаймлявшие поле вязы с едва

распустившейся листвой. Весна была ранняя, и легкий ветерок уже нес запахи земли и пробивающихся трав. На западе высились зеленые Молвернские холмы, а неподалеку, в тени деревьев, стоял длинный деревенский дом из выветрившегося кирпича, повернутый фасадом на юг. И во всем этом зеленом мире не было видно ничего живого, кроме сеятеля да нескольких грачей, перелетавших с вяза на вяз. А тишина стояла какая-то особенная, задумчивая, покойная. Поля и холмы будто посмеивались над жалкими стараниями человека их покалечить, над царапинами дорог, канав и поднятой плугом земли, над шаткими преградами стен и живой изгороди, — зеленые просторы и белое небо словно сговорились не замечать слабых людских усилий. Как одиноко было вокруг, как глубоко было все погружено в басо вое звучание тишины, слишком величественное и нерушимое для любого смертного!

Шагая поперек изрезанного бороздами поля, сеятель все кидал свои зерна в бурый суглинок, но вот наконец он швырнул последнюю горсть семян и замер. Дрозды еще только запевали вечернюю песню, — ее радостные переливы надежнее всего на свете сулят вечную юность земле. Человек поднял куртку, накинул ее на плечи, повесил на спину плетеную сумку и зашагал к обсаженной вязами дороге, которая поросла по краям травой.

— Трайст! Боб Трайст!

У калитки обвитого зеленью дома, стоявшего в фруктовом саду высоко над дорогой, его окликнул черноволосый юноша с легким загаром на лице; рядом с ним была девушка с курчавыми каштановыми волосами и румяными, как маки, щеками.

— Вас предупредили о выселении?

Великан медленно ответил:

— Да, мистер Дирек. Если она не уедет, придется уходить мне.

— Какая подлость!

Крестьянин мотнул головой, словно хотел что-то сказать, но так ничего и не выговорил.

— Пока подождите, Боб. Мы что-нибудь придумаем.

— Вечер добрый, мистер Дирек. Вечер добрый, мисс Шейла, — произнес крестьянин и пошел своей дорогой.

Юноша и девушка тоже ушли. Вместо них к калитке подошла черноволосая женщина в синем платье. Казалось, она тут стоит без всякой цели; быть может, это была особая вечерняя церемония, какой-то ритуал, вроде того, что выполняют мусульмане, заслыша крик муэдзина. И если бы кто-нибудь ее увидел, то не понял бы, на что устремлен взор ее темных, горящих глаз, глядевших поверх белых, окаймленных травую пустынных

дорог, которые тянулись между высоких вязов и зеленых полей. А дрозды заливались песней, призывая всех убедиться, какая юная, полная надежд жизнь расцветает в этом уголке сельской Англии..

ГЛАВА I

Майский день на Оксфорд-стрит. Феликс Фриленд, чуть-чуть опаздывая, спешит из Хемпстеда к своему брату Джону на Порчестер-гарденс. Феликс Фриленд— писатель и первым в этом сезоне надел серый цилиндр. Это — уступка, как и многое другое в его жизни и творчестве, компромисс между оригинальностью и общепринятым взглядом на жизнь, любовью к красоте и модой, скептицизмом и преклонением перед авторитетами. После семейного совета у Джона, где они должны обсудить поведение семьи их брата, Мортон Фриленда, более известного под прозвищем Тод, он, наверно, зайдет в Английскую Галерею поглядеть на карикатуры и нанесет визит одной герцогине в Мейфере, чтобы побеседовать с ней о памятнике Джорджу Ричарду. Вот поэтому-то он не надел ни мягкой фетровой шляпы, более подходящей к его писательской профессии, ни черного цилиндра, насмерть убивающего всякую индивидуальность, а прибег к этому серому

головному убору с узкой черной ленточкой, который, по правде говоря, очень шел к его песочно-желтому лицу, песочным усам, уже тронутым сединой, к черному, обшитому тесьмой сюртуку и темно-песочному жилету, к изящным штиблетам, — конечно, не лакированным! — слегка припудренным песочно-желтой пылью этого майского дня. Даже его серые, как у всех Фрилендов, глаза словно стали чуть-чуть песочными от сидячего образа жизни и излишней впечатлительности. Его угнетало, к примеру, то, что прохожие так отчаянно некрасивы, — и женщины и мужчины уродливы особым уродством не подозревающих этого людей. Его поражало, что при таком количестве уродов численность населения еще достигает подобного уровня! Благодаря его обостренному восприятию всякого несовершенства это казалось ему просто чудом. Нескладный, убогий народ — эта толпа, заполняющая магазины, эти рабочие! Какие беспросветно заурядные лица! Но как это изменить? Вот именно — как? Они ведь и не подозревают о своей угнетающей заурядности. Почти ни одного красивого или яркого лица, почти ни одного порочного, и уж вовсе ни одного озаренного мыслью, страстью, злодейством или величием. Ничего от древних греков, ранних итальянцев, елизаветинцев или даже от

пресыщенных мясом и пивом подданных королей Георгов. Во всех этих встречах была какая-то скованность, какая-то подавленность, что-то от человека, покоящегося в мягких кольцах удава, которые вот-вот начнут сжиматься. Это наблюдение доставило Феликсу Фриленду легкое удовольствие. Ведь его профессией было замечать, а потом увековечивать свои наблюдения на бумаге. Он был уверен, что немногие замечают подобные вещи, и это сильно поднимало его в собственных глазах и приятно согревало. Согревало еще и потому, что его постоянно перевозносила пресса, которой — как он знал — приходилось печатать его имя не одну тысячу раз в год. Но в то же время, будучи человеком просвещенным и принципиальным, он презирал дешевую славу и теоретически признавал, что истинное величие — в презрении к мнению света, а особенно к мнению такого непостоянного ценителя, как «шестая держава». Но и в этом вопросе, как и в выборе головного убора, он шел на компромисс: собирал газетные вырезки, где говорилось о нем и о его книгах, хотя никогда не упускал случая назвать эти отзывы — хорошие, плохие и неопределенные — «писаниной», а их авторов — «субъектами».

Мысль, что страна переживает тяжелые времена, была для него не новой. Наоборот, это было глубочайшее его убеждение, и он мог

привести в подтверждение веские доказательства. Во-первых, виной была та чудовищная власть, которую за последнее столетие приобрела в стране индустриализация, оторвавшая крестьян от земли, и, во-вторых, — влияние узколобой и коварной бюрократии, лишаящей народ всякой самостоятельности.

Вот почему, отправляясь на семейный совет к брату Джону, видному чиновнику, и к брату Стенли, индустриальному магнату и владельцу Мортоновского завода сельскохозяйственных машин, он чувствовал себя выше их, ибо он, во всяком случае, не был виновен в том параличе, который грозил охватить страну.

И с каждой минутой все больше покрываясь желтоватым румянцем, он продолжал свой путь, миновал Мраморную Арку и оказался среди толпы в Хайд-парке. Кучки молодых людей, полных рыцарского благородства, осыпали градом насмешек расходившихся участниц суфражистского митинга. Феликс раздумывал, не противопоставить ли их силе свою силу, их сарказму свой сарказм, или, уняв свою совесть, пройти мимо, однако и тут победил инстинкт, вынуждавший его носить серый цилиндр, — он не сделал ни того, ни другого и просто стоял, молча и сердито поглядывая на толпу, которая сразу же стала отпускать по его адресу шуточки: «Ну-ка,

сними его!», «Держи, чтобы не слетел!», «Ну и труба же!» — правда, ничего более обидного. А он размышлял: культура! Разве культура может развиваться в обществе, где царят слепой догматизм, нищета интеллекта, дешевые сенсации? Лица этой молодежи, интонация, речь и даже фасон котелков отвечали: нет! Вульгарность их непроницаема для воздействия культуры. А ведь они будущее нации, вот эта невыносимо отвратительная молодежь! Страна поистине слишком далеко ушла от «земли». И ведь городской плебс состоит не только из тех классов, к которым принадлежат эти молодые люди. Он замечал его характерные черты даже у школьных и университетских друзей своего сына: отрицание какой бы то ни было дисциплины, равнодушие ко всему, кроме сильных ощущений и удовольствий, а в голове путаница случайно нахватанных знаний. Все их стремления были направлены на то, чтобы урвать лакомый кусок в чиновном или промышленном мире. Этим был заражен даже его сын Алан, несмотря на влияние семьи и художественную атмосферу, в которой его так старательно возвращали. Он хотел пойти работать на завод к дяде Стенли, надеясь получить там «теплое местечко»...

Но последний женоненавистник уже прошел мимо, и, сознавая, что он опаздывает, Феликс

поспешил дальше...

Стоя перед камином в своем кабинете, довольно уютном, но слишком аккуратно прибранном, Джон Фриленд курил трубку, задумчиво уставившись в пространство. Он размышлял с той сосредоточенностью, которая характерна для человека, завоевавшего к пятидесяти годам высокое и устойчивое положение в министерстве внутренних дел. Начав свою карьеру в инженерных войсках, он на всю жизнь сохранил военную выправку, серьезность, пристальный взор и обвислые усы (чуть более седые, чем у Феликса). Лоб его полысел от прилежания и сноровки в обращении с деловыми бумагами. Лицо у него было более худое, а голова более узкая, чем у брата, и он научился смотреть на людей так, что они сразу же начинали в себе сомневаться и чувствовать слабость своих доводов. Сейчас, как было уже сказано, он размышлял. Утром он получил телеграмму от брата Стенли: «Сегодня приеду на автомобиле в Лондон по делам. Попроси Феликса быть к шести. Надо поговорить о положении в семье Тода». Какое положение? Он, правда, что-то мельком слышал о детях Тода и об их возне с тамошними батраками. Ему это было не по душе: уж очень в духе времени все эти беспорядки и демократические идейки! Заведут

страну черт знает куда! Он считал, что страна переживает тяжелые времена отчасти из-за индустриализации с ее губительным влиянием на здоровье, отчасти из-за этой страсти современной интеллигенции все критиковать, страсти, столь губительной для нравственных устоев. Трудно переоценить вред, которым чреваты оба эти фактора. И, раздумывая о предстоящем совещании со своими братьями (один из них был главой промышленного предприятия, а другой — писателем, чьи книги, крайне современные, он никогда не читал), Джон Фриленд где-то в глубине души чувствовал, что его совесть, пожалуй, чище, чем у них обоих. Услышав, что у дома остановился автомобиль, он подошел к окну и посмотрел на улицу. Да, это Стенли!..

Стенли Фриленд, приехавший из Бекета, загородного дома, расположенного недалеко от его завода сельскохозяйственных машин в Вустершире, постоял минутку на тротуаре, разминая длинные ноги и давая распоряжения шоферу. Его дважды задержали во время пути, хотя они ни разу не превысили скорости — так он, во всяком случае, считал и был все еще рассержен. Ведь он принципиально всегда соблюдает умеренность — и в езде и во всем остальном. В эту минуту он особенно остро чувствовал, что страна переживает тяжелые времена, ее разъедают бюрократические

порядки с их идиотскими ограничениями в скорости езды и в свободе граждан, а также все эти передовые идейки новоявленных писаков и умников, вечно болтающих о правах и страданиях бедноты. Нет, и то и другое явно мешает прогрессу. Пока он стоял на тротуаре, его так и подмывало выложить Джону напрямик все, что он думает по поводу посягательств на свободу личности; да он не постесняется задать перцу и братцу Феликсу за все его возмутительные теории и постоянные насмешки над высшими классами, предпринимателями и всем прочим. Если бы он хотя бы мог что-нибудь этому противопоставить! Капитал и те, кто им владеет, — становой хребет нашей страны или, по крайней мере, того, что от нее оставили эти проклятые чинуши и эстеты! И, нахмутив прямые брови над прямым разрезом серых глаз, прямым, коротко обрубленным носом, еще короче обстриженными усами и тупым подбородком, он все же решил ничего не говорить, не желая давать воли даже собственному гневу.

Тут, заметив приближение Феликса — в белом цилиндре, черт побери! — он направился к дверям — высокий, широкоплечий, представительный — и позвонил.

ГЛАВА II

— Так что же происходит у Тода?

Феликс чуть-чуть подвинулся на стуле, с любопытством глядя на Стенли, который приготовился взять слово.

Дело, конечно, в его жене. Все было ничего, пока она только пописывала, разглагольствовала и занималась этим своим Земледельческим Обществом или как его там называли — на днях оно испустило дух, — но теперь она и эти двое ребят впутались в наши местные свары, и я считаю, что с Тодом надо поговорить!

— Муж не может заставить жену отказаться от ее убеждений, — заметил Феликс.

— Убеждений?! — воскликнул Джон.

— Кэрстин — женщина с сильным характером, революционерка по натуре. Разве можно ожидать, что она будет поступать так, как поступали бы вы?

После этих слов Феликса воцарилось молчание.

Потом Стенли проворчал:

— Бедняга Тод!

Феликс вздохнул, на миг погрузившись в воспоминания о своей последней встрече с младшим братом. Это было четыре года назад летним вечером. Тод стоял между своими детьми Диреком и Шейлой в дверях белого дома с черными балками, увитого плющом; его загорелое лицо и

синие глаза дышали удивительным покоем.

— Какой же он «бедняга»? — спросил Феликс. — Тод гораздо счастливее нас с вами. Вы только на него посмотрите.

— Эх! — вдруг вздохнул Стенли. — Помните его на похоронах отца, как он стоял без шляпы и словно витал в облаках? Красивый малый наш Тод! Жаль, что он такое дитя природы.

Феликс негромко заметил:

— Если бы ты предложил ему стать твоим компаньоном, Стенли, из него вышел бы толк.

— Тод и завод сельскохозяйственных машин? Ого!

Феликс улыбнулся. При виде этой улыбки Стенли покраснел, а Джон снова набил трубку. Обидно, если твой брат большой насмешник, чем ты сам.

— А сколько лет его детям? — резко осведомился Джон.

— Шейле — двадцать, Диреку — девятнадцать.

— По-моему, мальчик учится в сельскохозяйственном институте?

— Уже кончил.

— А какой он?

— Черноволосый, горячий паренек. Ничуть не похож на Тода.

Джон проворчал.

— Это все ее кельтская кровь. Ее отец — старый полковник Морей — был такой же; настоящий шотландский горец. А в чем там у них дело?

Ему ответил Стенли:

— С этой пропагандой еще можно мириться, пока она не затрагивает соседей; тогда ее следует прекратить. Вы ведь знаете Маллорингов, они владеют всей землей по соседству с Тодом. Ну вот, наши напали на Маллорингов за какую-то якобы несправедливость к их арендаторам, что-то касающееся их нравственности. Подробностей я не знаю. Какому-то человеку отказали в аренде из-за сестры его покойной жены, а девушка с другой фермы что-то натворила. Словом, обычные деревенские происшествия. Надо объяснить Тоду, что его семья не должна ссориться со своими ближайшими соседями. Мы хорошо знакомы с Маллорингами, до них от нашего Бекета всего семь миль. Так не поступают; рано или поздно жизнь превращается в ад. А тут атмосфера и так накалена всей этой пропагандой по поводу арендаторов-батраков, «земельного вопроса» и всего прочего, достаточно искры, чтобы начались настоящие беспорядки.

И, кончив эту речь, Стенли засунул руки поглубже в карманы и забренчал лежавшей там мелочью.

Джон коротко сказал:

— Феликс, тебе надо бы съездить туда.

Феликс откинулся на спинку стула и смотрел куда-то в сторону.

— Как странно, — сказал он, — что, имея такого на редкость своеобразного брата, как Год, мы видимся с ним раз в кои веки.

— Именно потому, что уж очень он своеобразен...

Феликс встал и без улыбки протянул руку Стенли.

— А ведь ты прав. — Обернувшись к Джону, он добавил: — Хорошо, поеду и расскажу вам, что там творится.

Когда он ушел, старшие братья помолчали, а потом Стенли сказал:

— Наш Феликс мне немножко действует на нервы! Газеты курят ему такой фимиам, что у него совсем голова закружилась!

Джон ничего на это не возразил: как-то нехорошо возмущаться тем, что газеты хвалят твоего собственного брата. Но если бы тот сделал что-нибудь путное — открыл бы истоки Черной реки, завоевал Базутоленд, нашел средство против редкой болезни или стал епископом, — он бы первый с восторгом поздравил его; однако не может же он восторгаться тем, что делает Феликс, — этими его романчиками, критическими статьями,

едкими, разрушительными сочинениями, якобы открывающими ему, Джону Фриленду, то, чего он не знал раньше, — как будто Феликс на это способен! Лучше бы писал по старинке, для души, так, чтобы можно было почитать на сон грядущий и спокойно заснуть после трудового дня! Нет! То, что Феликсу курят фимиам за его сочинения, обижало Джона до глубины души. В этом было что-то непристойное, возмущающее чувство приличия, здоровые инстинкты, наконец, традиции! И хотя он никому в этом не признавался, у него было тайное ощущение, что вся эта шумиха опасна для его собственных взглядов, которые для него, естественно, одни только и были верными.

Однако вслух он только спросил:

— Ты пообедаешь со мной, Стен?

ГЛАВА III

Если Феликс вызывал такое чувство у Джона, то сам он, когда бывал один, испытывал к себе то же чувство. Он так и не разучился считать, что привлекать к себе внимание — вульгарно. Вместе со своими тремя братьями он был пропущен через жернова благородного воспитания и получил эту ни с чем не сравнимую шлифовку, которая возможна только в английской школе. Правда, Тод был публично исключен в конце третьего триместра за

то, что влез на крышу к директору и заткнул два его дымохода футбольными трусиками, с которых забыл спороть свою метку. Феликс до сих пор помнил торжественную церемонию — пугающую, напряженную тишину и зловещие слова: «Фриленд-младший!»; бедняжку Тода, возникшего из темноты верхних рядов актового зала и медленно спускающегося по бесчисленным ступеням. Каким он был маленьким, розовощеким! Его золотистые волосы топорщились, а голубые глазенки пристально смотрели из-под нахмуренного лба. Величественная длань держала вымазанные сажей трусики, и торжественный глас пророкотал: «Это, видимо, ваше имущество, Фриленд-младший? Это вы столь любезно положили ваши вещи в мой дымоход?» И тоненький голосок пропищал в ответ: «Да, сэр».

— Могу я осведомиться, зачем вы это сделали, Фриленд-младший?

— Сам не знаю, сэр.

— Но были же у вас какие-то соображения, Фриленд-младший?

— У нас конец триместра, сэр.

— Ах, вот что! Вам не стоит больше сюда возвращаться, Фриленд-младший. Вы слишком опасны и для себя и для других. Ступайте на место.

И бедный маленький Тод отправился в обратный путь, карабкаясь по бесконечным

ступеням; щеки его горели пуще прежнего, голубые глазенки сверкали еще ярче из-под еще тревожнее нахмуренного лба; маленький рот был твердо сжат, а сопел он так громко, что его было слышно за шесть скамей. Правда, новый директор школы был очень рассержен другими проделками, виновники которых не забывали спарывать свои метки, но все же ему не хватало чувства юмора, ах, до чего же ему не хватало чувства юмора! Будто Тод не доказал своим поступком, какой он превосходный малый! И по сей день Феликс с наслаждением вспоминал тихое шиканье, которое по его почину пошло по залу; его прервал окрик учителя, но оно вспыхивало то там, то сям, как беглые язычки пламени, когда пожар уже гаснет. Исключение из школы спасло Тода. А может, наоборот, его погубило? Что вернее? Один бог знает, — Феликс не мог этого решить. Сам пройдя пятнадцатилетнюю «шлифовку» своего образа мыслей, а потом потратив еще пятнадцать лет на то, чтобы ее преодолеть, он в конце концов начал думать, что в таком воспитании есть свой смысл. Философия, которая принимает все, в том числе и самое себя, как должное, и не допускает никаких сомнений, очень успокаивает издерганные нервы человека, вечно занятого анализом внутренней жизни как своей, так и других людей. Но Тод, которого после его исключения из школы, само

собой разумеется, послали учиться в Германию, а потом заставили заниматься сельским хозяйством, так никогда и не подвергся «шлифовке» и не был вынужден стирать ее с себя; и все же он был самым умиротворенным человеком, какого можно себе представить.

Феликс вышел из метро в Хемпстеде и пошел домой; вечернее небо над ним было на редкость странным. Между соснами на вершине холма оно казалось тусклым, как розоватый опал, а вокруг — пронзительно-лиловым; на нем горели молодая зелень ветвей и белые звезды цветущих деревьев. Весна до сих пор тянулась уныло и прозаично; сегодня же к вечеру она вся превратилась в пламень и готовые бурно излиться потоки; Феликса поразило это насыщенное страстью небо.

Он едва дошел до дому, как небо разверзлось и оттуда хлынул ливень.

Старый дом позади Спаньярдс-роуд, если не считать мышей и легкого запаха трухлявого дерева в двух его комнатах, радовал своего хозяина. Феликс часто стоял у себя в прихожей, в кабинете, в спальне и в других комнатах, наслаждаясь изысканностью и простотой их атмосферы, восхищаясь редким изяществом и нарочитой небрежностью тканей, цветов, книг, мебели и фарфора. Но внезапно что-то в нем возмущалось: «Господи, неужели все это мое, ведь мой идеал —

вода и хлеб, а в праздники кусочек сыру?» Правда, красота этой обстановки — не его вина, а дело рук Флоры, однако ему приходится жить среди этих вещей, с чем не так-то легко примириться истинному эпикурейцу. Хорошо еще, что дело ограничилось хотя бы этим, — если у Флоры и была страсть коллекционировать вещи, она не слишком давала себе волю, и хотя собранные ею вещи стоили немало денег, вид у них был такой, будто они достались по наследству, а кто же не знает, что нам, хочешь не хочешь, приходится терпеть «родовые реликвии», будь то титул или судок для приправ?

Собирать старинные вещи и писать стихи — это было ее призвание, и он бы не хотел для своей жены никакого другого. А ведь она могла бы, как жена Стенли — Клара, посвятить себя культу богатства и положения в обществе, или рано кончить свою жизнь, как жена Джона — Энн, или даже как жена Года — Кэрстин — видеть свое призвание в бунтарстве. Нет, жена, у которой было двое, всего двое детей, вызывавших в ней любовное недоумение, которая никогда не выходила из себя, никогда не суежилась, умела оценить достоинства книги или спектакля, а в случае необходимости и постричь вас; жена, у которой никогда не потели ладони и еще не расплылась фигура, жена, которая писала довольно сносные стихи и, самое главное, не

желала для себя лучшей участи — на такую жену нечего фыркать. И Феликс всегда это понимал. Он описал в своих книгах столько фыркающих мужей и жен, что умел ценить счастливый брак больше, чем любой другой англичанин. Не раз разбивая чужую семейную жизнь на всевозможных рифах и скалах, он тем больше почитал свою собственную, которая началась еще в молодости и, по всей видимости, кончится в глубокой старости; и была прожита рука об руку, скрепляемая нередко и поцелуями.

Повесив свой серый цилиндр, Феликс отправился искать жену. Он нашел ее в своей туалетной, окруженную маленькими бутылочками, которые она рассеянно осматривала, а потом одну за другой отправляла в «родовую» корзинку для бумаги. Не без удовольствия понаблюдав за ней несколько минут, он опросил:

— Ну как, дорогая?

Заметив его и продолжая свое занятие, она объяснила:

— Я решила, что пора за них взяться — это подарки милой мамы.

Они лежали перед ней — флакончики и склянки, наполненные бурой или светлой жидкостью, белым, голубым или коричневым порошком, зеленой, коричневой или желтой мазью; черные лепешки, рыжие пластыри; голубые,

розовые и лиловые пилюли. Все они были аккуратно заткнуты пробками и снабжены аккуратными ярлычками.

И он сказал чуть-чуть дрогнувшим голосом:

— Дорогая мама! Ну до чего же она щедро все раздает! Неужели нам *ничего* из этого не пригодилось?

— Ничего. А их надо выбросить, пока они не испортились, не то еще примешь что-нибудь по ошибке.

— Бедная мама!

— Дорогой мой, она, несомненно, уже нашла какие-нибудь новые средства.

Феликс вздохнул.

— Вечная жажда перемен! Она есть и у меня.

И он мысленно увидел лицо матери, словно выточенное из слоновой кости, которое она одной силой воли уберегала от морщин; ее твердый подбородок, прямой и чуть длинный нос, правильный росчерк бровей; глаза, видевшие все так быстро и так разборчиво; крепко сжатые губы, умевшие нежно улыбаться и принимать все, что посылает судьба, с трогательной решимостью; тонкие кружева — порою черные, порою белые — на ее седых волосах; руки, такие теперь худые и всегда подвижные, словно за все ее старания не оскорблять ничьих глаз зрелищем лица, изуродованного старостью, мстило беспокойство

этих рук, которое она не могла унять; ее фигуру, низенькую, хотя она и казалась скорее высокой, всегда одетую в черное или серое; все еще быстрые движения и еще не утраченную живость. Перед ним сразу возник образ взыскательной, утонченной, беспокойной души, которая на земле звалась Фрэнсис Флиминг Фриленд, души, противоречиво сотканной из властности и смирения, терпимости и цинизма; точной и не способной ничего приукрашивать, как пески пустыни, щедрой до того, что вся ее семья приходила в отчаяние, и прежде всего мужественной.

Флора выбросила последний флакон и, усевшись на край ванны, чуть-чуть вздернула брови. Как выгодно отличает ее от других жен это умение смотреть на все объективно и с юмором!

— Это ты жаждешь перемен? В чем же?

— Мама непрерывно переезжает с места на место, переходит от одного человека к другому, от одного предмета к другому. Я постоянно перехожу от одного мотива к другому, от одной человеческой психики к другой; родной для меня воздух, как и для нее, — воздух пустыни, поэтому так бесплодно мое творчество.

Флора поднялась, но брови ее опустились на место.

— Твое творчество не бесплодно, — заявила она.

— Ты, дорогая моя, пристрастна. — И, заметив, что она собирается его поцеловать, он не почувствовал никакой досады, ибо эта женщина сорока двух лет, у которой было двое детей и три — книжки стихов (причем трудно сказать, что ей далось легче), с серовато-карими глазами, волнистым изломом бровей, более темных, чем следовало бы, и красноватыми отблесками в волосах, с волнистыми линиями фигуры и губ, с необычной, слегка насмешливой ленцой, необычной, слегка насмешливой сердечностью, была женой, какую только можно себе пожелать.

— Мне надо съездить повидаться с Тодом, — сказал он. — Мне нравится его жена, но у нее нет чувства юмора. Насколько убеждения лучше в теории, чем на практике!

Флора тихонько сказала, будто себе самой:

— Хорошо, что у меня их нет...

Она стояла у окна, опершись на подоконник, и Феликс встал рядом с ней. Воздух был напоен запахом влажной листвы, звенел от пения птиц, славивших небеса. Вдруг он почувствовал ее руку у себя на спине: не то рука, не то спина — ему трудно было сейчас сказать, что именно, — показалась ему удивительно мягкой...

Феликса и его молоденькую дочь Недду связывало чувство, в котором, если не считать материнской любви, больше всего постоянства, ибо

оно основано на взаимном восхищении. Правда, Феликс никогда не мог понять, что в нем может нравиться сияющей наивностью Недде, — он ведь не знал, что она читает его книги и даже разбирает их в своем дневнике, который аккуратно ведет в те часы, когда ей положено спать. Поэтому он и не подозревал, какую пищу дают его изложенные на бумаге мысли для тех бесконечных вопросов, которые она задавала себе, для жажды узнать, почему это так, а это не так. Почему, например, у нее иногда так ноет сердце, а иногда на душе так весело и легко? Почему люди, которые говорят и пишут о боге, делают вид, будто точно знают, что он такое, а вот она не имеет об этом понятия? Почему люди должны страдать и жизнь безжалостна к неисчислимым миллионам человеческих существ? Почему нельзя любить больше, чем одного мужчину сразу? Почему... Тысячи «почему». Книги Феликса не отвечали на все эти вопросы, но они как-то успокаивали, ибо она нуждалась пока не столько в ответах, сколько во все новых и новых вопросах, как птенец, который все время разевает рот, не сознавая толком, что туда входит и оттуда выходит. Когда они с отцом гуляли, сидели, беседуя, или ходили на концерты, разговоры их не бывали очень откровенными или многословными; они не открывали друг другу душу. Однако оба они твердо

знали, что им вдвоем не скучно, а это не шутка! И то и дело держали друг друга за мизинец, отчего на душе у них становилось теплее. А вот со своим сыном Аланом Феликс постоянно чувствовал, что ему нельзя оплошать, а он непременно оплошает; ему чудилось, как в привычном кошмаре, что он пытается сдать экзамен, к которому ничего не выучил, короче говоря, что он обязан всеми силами вести себя достойно отца Алана Фриленда. Общество же Недды его освежало, он испытывал радость, как в майский день, когда смотришь в прозрачный ручей, на цветущий луг или на полет птиц. Но что чувствовала Недда, когда бывала с отцом? Она словно долго гладила что-то очень мягкое, отчего чуточку щекотало кончики пальцев, а когда читала его книги, то ей казалось, будто ее время от времени щекочут, нежно поглаживая, когда она этого меньше всего ожидает.

В этот вечер, после ужина, когда Алан куда-то ушел, а Флора задремала, Недда примостилась возле отца, поймала его мизинец и зашептала:

— Пойдем в сад, папочка, я надена галоши. Сегодня такая чудная луна!

Луна за соснами и в самом деле была бледно-золотистая; ее свечение, словно дождь золотой пыльцы, словно крылья мотыльков, едва касалось тростника в их маленьком темном пруду и цветущих кустов смородины. А молодые липы, еще

не совсем одетые листвою, восторженно вздрагивали от этого лунного колдовства, роняя с нежным шелестом последние капли весеннего ливня. В саду чудилось присутствие божества, затаившего дыхание при виде того, как наливаются соками его собственная юность, как она зреет и, дрожа, тянется к совершенству. Где-то прерывисто чирикала птичка (наверно, решили они, дрозд, в чьей маленькой головке день спутался с ночью). Феликс с дочерью, держась за руки, шли по темным, мокрым дорожкам и больше молчали. У него, чуткого к природе, было гордое чувство, что об руку с ним идет сама весна, доверившая ему свои тайны в этот полный шелеста и шепота час. Да и в Недде бродила невыразимая юность этой ночи, недаром она была молчалива. Но вот, сами не зная почему, оба они замерли. Вокруг стояла тишина, лишь где-то далеко пролаяла собака, еле слышно шуршали дождевые капли да едва доносился гул миллионного голоса города. Как было тихо, покойно и свежо! Недда сказала:

— Папа, я так хочу все изведать!

Это великолепно самоуверенное желание не вызвало у Феликса улыбки, оно показалось ему бесконечно трогательным. Разве юность могла стремиться к чему-либо меньшему, стоя в самом сердце весны?.. И, глядя на ее лицо, поднятое к ночному небу, на полуоткрытые губы и лунный

луч, дрожавший на ее белой шее, он ответил:

— Все придет в свое время, моя радость!

Подумать, что и для нее наступит конец, как и для всех других, и она так и не успеет изведать почти ничего, открыв разве только себя да частицу бога в своей душе! Но ей он, конечно, не мог этого сказать.

— Я хочу *чувствовать* . Неужели еще не пора?

Сколько миллионов молодых существ во всем мире посылают к звездам эту молитву, которая кружит и несется ввысь, чтобы потом упасть на землю! Ему было нечего ответить.

— Еще успеешь, Недда.

— Но, папа, на свете столько всего, столько людей, причин, столько... жизни, а я ничего не знаю. И если что-нибудь и узнаешь, то, по-моему, только во сне.

— Ну что до этого, дитя мое, то я ничем! от тебя не отличаюсь. Как же помочь таким, как мы с тобой?

Она снова взяла его под руку.

— Не смейся надо мной!

— Избави бог! Я говорю серьезно. Ты узнаешь жизнь гораздо быстрее меня. Для тебя она — все еще народная песня; для меня — уже Штраус и тому подобная пресыщенная музыка. Вариации, которые разыгрываются у меня в мозгу... Да разве

я не променял бы их на те мелодии, которые звучат в твоём сердце?..

— У меня не звучит ничего. Мне, видно, не из чего создавать эти мелодии. Возьми меня с собой к Тодам, папа!

— А почему бы и нет? Хотя...

В этой весенней ночи — Феликс это чувствовал — что-то крылось; оно лежало за этой тихой, лунной тьмой, затаив дух, полное настороженного ожидания; вот так и в невинной просьбе дочери ему почудилось что-то сулившее роковые перемены. Какая чепуха! И он ей сказал:

— Пожалуйста, если хочешь. Дядя Тод тебе понравится, остальные — не знаю, но твоя тетя для тебя будет чем-то совсем новым, а ты ведь, кажется, ищешь новизны.

Недда стиснула его руку молча, с жаром.

ГЛАВА IV

Бекет — загородная усадьба Стенли Фриленда — был почти образцовым имением. Дом стоял посреди парка и лугов, а до городка Треншем и Мортонского завода сельскохозяйственных машин было всего две мили. Когда-то тут находилось родовое гнездо Моретонов — предков его матери, — сожженное солдатами Кромвеля. место, где некогда стоял этот дом, еще хранившее

следы прежних строений, миссис Стенли приказала обнести стеной и увековечить каменным медальоном, на котором был выбит старинный герб Моретонов: симметрично расположенные стрелы и полумесяцы. Кроме того, там поселили и павлинов, благо они тоже были изображены на гербе, птицы пронзительно кричали, словно пылкие души, обреченные на слишком благополучную жизнь.

По капризу природы — а их у нее немало — Стенли, владевший родовыми землями Моретонов, был меньше всех братьев Фрилендов похож на своих предков по материнской линии и душой и телом. Вот почему он нажил больше денег, чем остальные трое, вместе взятые, и сумел при помощи Клары, с ее бесспорным даром завоевывать положение в обществе, вернуть роду Моретонов его законное место среди дворянства Вустершира. Грубоватый и лишенный всякой сентиментальности, сам он мало этим дорожил, но, будучи человеком незлым и практичным, только посмеивался в кулак, глядя на свою жену, урожденную Томсон. Стенли не был способен понять своеобразную прелесть Моретонов, которые, несмотря на уозость и наивность, обладали и своим благородством. Для него еще живые Моретоны были «никому не нужным сухостоем». Они действительно принадлежали к уже вымершей породе людей, ибо со времен Вильгельма

Завоевателя были простыми помещиками, чей род не насчитывал ни одного сколько-нибудь выдающегося представителя, если не считать некоего королевского лекаря, который умер, не оставив потомства. Из поколения в поколение они женились на дочерях таких же помещиков и жили просто, благочестиво и патриархально. Они никогда не занимались коммерцией, никогда не богатели, оберегая свои традиции и достоинство куда более тщательно, чем так называемая аристократия. Отеческое отношение к людям зависимым было у них в крови, как и уверенность, что люди зависимые да и все «не-дворяне» сделаны из другого теста, поэтому они были лишены всякой надменности, и по сей день в них сохранилось что-то от глухой старины — от времен лучников, домашних настоек, сушеной лаванды и почтения к духовенству. Они часто употребляли слово «прилично», обладали правильными чертами лица и чуть-чуть пергаментной кожей. Естественно, что все они до одного — и мужчины и женщины — принадлежали к англиканской церкви, а благодаря врожденному отсутствию собственных взглядов и врожденному убеждению, что всякая другая политика «неприлична», были консерваторами; но при этом они были очень внимательны к другим, умели мужественно переносить свои несчастья и не страдали ни жадностью, ни расточительностью.

Бекета в нынешнем его виде они отнюдь не одобрили бы.

Теперь уже никто не узнает, почему Эдмунд Моретон (дед матери Стенли) в середине XVIII века вдруг изменил принципам и идеалам своей семьи и принял «не вполне приличное» решение делать плуги и наживать деньги. Но дело обстояло именно так, доказательством чего служил завод сельскохозяйственных машин. Будучи, очевидно, человеком, наделенным отнюдь не «родовой» энергией и характером, Эдмунд выбросил из своей фамилии букву «е» и хотя во имя семейных традиций женился на девице Флиминг из Вустершира, по-отечески пекся о своих рабочих, назывался сквайром и воспитывал детей в духе старинных моретоновских «приличий», но все же сумел сделать свои плуги знаменитыми, основать небольшой городок и умереть в возрасте шестидесяти шести лет все еще красивым и чисто выбритым мужчиной. Из его четырех сыновей только двое были настолько лишены родового «е», что продолжали делать плуги. Дед Стенли, Стюарт Мортон, старался изо всех сил, но в конце концов поддался врожденному инстинкту жить, как подобает Моретону. Он был человеком чрезвычайно милым и любил путешествовать вместе со своей семьей; когда он умер во Франции, у него осталась дочь Фрэнсис (мать Стенли) и трое

сыновей; один из них был помешан на лошадях, оказался в Новой Зеландии и погиб, упав с лошади; второй — военный, оказался в Индии и погиб там в объятиях удава; третий попал в объятия католической церкви.

Мортоновский завод сельскохозяйственных машин захирел и был в полном упадке, когда отец Стенли, желая позаботиться о будущем сына, поручил ему семейное предприятие, снабдив его необходимым капиталом. С тех пор дела завода пошли в гору, и теперь он приносил Стенли, своему единственному владельцу, годовой доход в пятнадцать тысяч фунтов. И эти деньги были ему нужны, ибо жена его Клара отличалась тем честолюбием, которое не раз обеспечивало его обладательницам видное положение в обществе, где на них сперва смотрели сверху вниз, — а попутно отнимало у земледелия много гектаров пахотной земли. Во всем Бекете не применялось ни единого плуга, даже мортоновского (впрочем, эти последние считались непригодными для английской земли и вывозились за границу). Успех Стенли зиждился на том, что он сразу понял цену болтовни о возрождении сельского хозяйства в Англии и усердно искал иностранные рынки. Вот почему столовая Бекета без особого труда вмещала целую толпу местных магнатов и лондонских знаменитостей, хором оплакивавших «положение с

землей» и сетовавших, не умолкая, на жалкую участь английского земледельца. Если исключить нескольких писателей и художников, которыми старались разбавить однородную массу гостей, Бекет стал местом сбора борцов за земельную реформу, тут их по субботам и воскресеньям ждал радушный прием, а также приятные и интересные беседы о безусловной необходимости что-то предпринять и о кознях, замышляемых обеими политическими партиями против землевладельцев. Земли, лежавшие в самом сердце Англии и встарь благоговейно возделывавшиеся Моретонами, которым сочные травы и волнистые нивы давали простое, но совсем не скудное пропитание, — и не только им самим, но и многим вокруг, — теперь превратились в газоны, парк, охотничьи уголья, поле для игры в гольф и то количество травы, которое требовалось коровам, круглый год поставлявшим молоко для приглашенных и детей Клары, — все ее отпрыски были девочки, кроме младшего, Фрэнсиса, и еще не вышли из самого юного возраста. Не меньше двадцати слуг — садовники, егеря, скотники, шоферы, лакеи и конюхи — тоже кормились с тех полутора тысяч акров, из которых состояло небольшое поместье Бекет. Настоящих земледельцев, то бишь обиженных селян, о которых столько здесь говорили, якобы не желавших жить «на земле»

(хотя для них с трудом находилась кров, когда они изъявляли такое желание), к счастью, не было ни одного, и поэтому Стенли, чья жена настаивала на том, чтобы он выставил свою кандидатуру от их округа, и его гости (многие из них заседали в парламенте) могли придерживаться, живя в Бекете, вполне объективных взглядов на земельный вопрос.

К тому же места эти были очень красивые — просторные, светлые луга были окаймлены громадными вязами, травы и деревья дышали безмятежным покоем. Белый дом с темными бревнами, как принято строить в Вустершире (к нему время от времени что-нибудь пристраивалось), сохранил благодаря хорошему архитектору старомодную величавость и по-прежнему господствовал над своими цветниками и лужайками. На большом искусственном озере с бесчисленными заросшими тростником заливчиками, с водяными лилиями и лежащей на воде листвой, пронизанной солнцем, привольно жили в своем укромном мирке довольно ручные утки и робкие водяные курочки; когда весь Бекет отходил ко сну, они летали и плескались, и казалось, будто дух человеческий со всеми своими проделками и искрой божественного огня еще не возник на земле.

В тени бука, там, где подъездная аллея вливалась в круг перед домом, на складном стуле

сидела старая дама. На ней было легкое платье из серого альпака, темные с проседью волосы закрывала черная кружевная наколка. На коленях у нее лежали номер журнала «Дом и очаг» и маленькие ножницы, подвешенные на недорогой цепочке к поясу, — она собиралась вырезать для дорогого Феликса рецепт, как предохранить голову от перегрева в жару, но почему-то этого не сделала и сидела, совсем не двигаясь. Только время от времени сжимались тонкие бледные губы и беспрерывно шевелились тонкие бледные руки. Она, видимо, ждала чего-то, сулившего ей приятную неожиданность и даже удовольствие: на пергаментные щеки лег розовый лепесток румянца, а широко расставленные серые глаза под правильными и еще темными бровями, между которыми не было и намека на морщины, продолжали почти бессознательно замечать всякие мелочи, совсем как глаза араба или индейца продолжают видеть все, что творится кругом, даже когда мысли их обращены в будущее. Вот так Фрэнсис Флиминг Фриленд (урожденная Мортон) поджидала своего сына Феликса и внуков Алана и Недду.

Вскоре она заметила старика, который брел, прихрамывая и опираясь на палочку, туда, где аллея выходила на открытое место, и сразу же подумала: «Зачем он сюда идет? Наверно, не знает дороги к

черному ходу. Бедняга, он совсем хромой. Но вид у него приличный».

Она встала и пошла к нему; его лицо с аккуратными седыми усами было на редкость правильным, почти как у джентльмена; он дотронулся до запыленной шляпы со старомодной учтивостью. Улыбаясь — улыбка у нее была добрая, но чуть-чуть неодобрительная, — она сказала:

— Вам лучше всего вернуться вон на ту дорожку и пройти мимо парников. Вы ушибли ногу?

— Нога у меня, сударыня, повреждена вот уже скоро пятнадцать лет.

— Как же это случилось?

— Задел плугом. Прямо по кости, а теперь, говорят, мышцы вроде как высохли.

— А чем вы ее лечите? Самое лучшее средство — вот это.

Из глубин своего кармана, пришитого там, где никто карманов не носит, она вытащила баночку.

— Позвольте я вам ее дам. Намажьте перед сном и хорошенько вотрите! Увидите, это прекрасно помогает.

Старик, поколебавшись, почтительно взял баночку.

— Хорошо, сударыня. Спасибо, сударыня.

— Как вас зовут?

— Гонт.

— А где вы живете?

— Возле Джойфилдса, сударыня.

— А-а, Джойфилдс! Там живет другой мой сын, мистер Мортон Фриленд. Но туда семь миль!

— Полдороги меня подвезли.

— У вас тут есть какое-нибудь дело?

Старик молчал. Унылое, несколько скептическое выражение его морщинистого лица стало еще более унылым и скептическим. Фрэнсис Фриленд подумала: «Он страшно устал. Надо, чтобы его напоили чаем и сварили ему яйцо. Но зачем он так далеко шел? Он не похож на нищего».

Старик, который не был похож на нищего, вдруг произнес:

— Я знаю в Джойфилдсе мистера Фриленда. Очень добрый джентльмен.

— Да. Странно, почему я не знаю вас?

— Я мало выхожу из-за ноги. Внучка моя тут у вас в услужении, вот я к ней и пришел.

— Ах, вот оно что! Как ее зовут?

— Гонт.

— Я тут никого не знаю по фамилии.

— Ее зовут Алисой.

— А-а, на кухне, — милая, хорошенькая девушка. Надеюсь, у вас не случилось какой-нибудь беды?

Снова старик сперва ничего не ответил, а

потом вдруг прервал молчание:

— Да как на это посмотреть, сударыня... Мне надо с ней перемолвиться парочкой слов по семейному делу. Отец ее не смог прийти, вместо него пришел я.

— А как же вы доберетесь назад?

— Да, видно, придется пешком, разве что меня подвезут на какой-нибудь повозке.

Фрэнсис Фриленд строго поджала губы.

— С такой больной ногой надо было сесть на поезд.

Старик улыбнулся.

— Да разве у меня есть деньги на дорогу? — сказал он. — Я ведь получаю пособия всего пять шиллингов в неделю и два из них отдаю сыну.

Фрэнсис Фриленд снова сунула руку в тот же глубокий карман и тут заметила, что левый башмак у старика не зашнурован, а на куртке недостает двух пуговиц. В уме она быстро прикинула:

«До следующего получения денег из банка осталось почти два месяца. Я, конечно, не могу себе этого позволить, но я должна дать ему золотой».

Она вынула руку из кармана и пристально поглядела на нос старика. Нос был точеный и такой же бледно-желтый, как и все лицо.

«Нос приличный, не похож на нос пьяницы», — подумала она. В руке у нее были кошелек и шнурок. Она вынула золотой.

— Я вам его дам, если вы пообещаете не истратить его в трактире. А вот вам шнурок для башмака. Назад поезжайте поездом. И скажите, чтобы вам пришили пуговицы. А кухарке от меня, пожалуйста, передайте, чтобы она напоила вас чаем и сварила вам яйцо. — Заметив, что он взял золотой и шнурок очень почтительно и вообще выглядел человеком достойным, не грубияном и не пропойцей, она добавила: — До свидания. Не забудьте каждый вечер и каждое утро как следует втирать мазь, которую я вам дала.

Потом она вернулась к своему стулу, села, взяла в руки ножницы, но опять забыла вырезать из журнала рецепт и сидела, как прежде, замечая все до последней мелочи и думая не без внутреннего трепета о том, что дорогие ее Феликс, Алан и Недда скоро будут тут; на ее щеках снова проступил легкий румянец, ее губы и руки снова задвигались, выражая и в то же время стараясь скрыть то, что творится у нее на сердце. А оттуда, где некогда стоял дом Моретонов, за ее спиной появился павлин, резко закричал и медленно прошествовал, распустив хвост, под низкими ветками буков, словно понимая, что эти горящие темной бронзой листья прекрасно оттеняют его геральдическое великолепие.

ГЛАВА V

На следующий день после семейного совета у Джона Феликс получил следующее послание:

«Дорогой Феликс!

Когда ты поедешь навестить старину Тода, почему бы тебе не остановиться у нас в Бекете? Приезжай в любое время, и автомобиль доставит тебя в Джойфилдс, когда ты захочешь. Дай отдохнуть своему перу. Клара тоже надеется, что ты приедешь, и мама еще у нас. Полагаю, что Флору звать бесполезно.

Как всегда, любящий тебя

Стенли ».

Все двадцать лет, которые брат его прожил в Бекете, Феликс посещал его не чаще раза в год и последнее время ездил туда один. Флора погостила там несколько раз вместе с ним, а потом наотрез отказалась.

— Дорогой мой, — заявила она, — там уж слишком заботятся о нашей брэнной плоти.

Фелюке пробовал с ней спорить:

— Изредка это не так уж плохо.

Но Флора стояла на своем. Жизнь так коротка! Она недолюбливала Клару. Да Феликс и

сам не очень-то приятно чувствовал себя в обществе невестки; но инстинкт, вынуждавший его надевать серый цилиндр, заставлял его ездить в Бекет: надо же поддерживать отношения с братьями!

Он ответил Стенли:

«Дорогой Стенли!

С радостью приеду, если мне разрешат взять с собой мою молодежь. Будем завтра без десяти пять.

Любящий тебя

Феликс».

Ездить с Неддой всегда было весело: наблюдаешь, как глаза ее замечают все вокруг, о чем-то спрашивают, а порой чувствуешь, как мизинец ее зацепился за твой и легонько его пожимает... Ездить с Аланом было удобно: этот молодой человек умел устраиваться в пути так хорошо, как отцу и не снилось. Дети никогда не бывали в Бекете, и хотя Алан почти никогда ничем не интересовался, а Недда так горячо интересовалась всем, что вряд ли на этот раз почувствует особое любопытство, тем не менее Феликс предвидел, что поездка с ними будет занимательной.

Приехав в Треншем — небольшой городок на холме, выросший вокруг Муртоновского завода сельскохозяйственных машин, — они тут же сели в автомобиль Стенли и ринулись в сонную тишь вустерширского предвечернего часа. Интересно, повторит ли пичужка, пристроившаяся у его плеча, приговор Флоры: «Тут слишком заботятся о нашей брэнной плоти», — или же почувствует себя в этой сытой роскоши, как рыба в воде? Он спросил:

— Кстати, в субботу приезжают «шишки» вашей тетушки. Хотите поглядеть на кормление львов или нам лучше вовремя убраться восвояси?

Как он и ожидал, Алан ответил:

— Если у них есть где поиграть в гольф, то, пожалуй, можно потерпеть.

Недда спросила:

— А что это за «шишки», папочка?

— Таких ты, милочка, еще не видела.

— Тогда мне хочется остаться. Только как быть с платьями?

— А какая у тебя с собой амуниция?

— Всего два вечерних, белых. И мама дала мне свой шарф из брабантских кружев.

— Сойдет!

Феликсу Недда в белом вечернем платье казалась лучистой, как звезда, и самой привлекательной девушкой на свете.

— Только, папа, пожалуйста, расскажи мне о

них заранее.

— Непременно, милочка. И да спасет тебя бог. Смотрите, вот начинается Бекет.

Автомобиль свернул на длинную подъездную аллею, обсаженную деревьями, еще молодыми, но настолько парадными, что они выглядели старше своих двадцати лет. Справа, на могучих вязах, суматошно кричали грачи: жены всех трех егерей только что испекли свои ежегодные пироги с начинкой из грачей, и птицы еще не успели от этого опомниться. Вязы росли здесь еще тогда, когда Моретоны шествовали мимо них по полям на воскресную обедню. Слева, над озером, показался обнесенный стеною холмик. При виде его у Феликса, как всегда, что-то шевельнулось в душе, и он сжал руку Недды.

— Видишь ту нелепую загородку? За ней когда-то жили бабушкины предки. Теперь уж ничего этого нет — и дом новый, и озеро новое, и деревья — все новое.

Но спокойный взгляд дочери сказал ему, что его чувство ей непонятно.

— Озеро мне нравится, — сказала она. — А вон и бабушка... Ах, какой павлин!

Каждый раз, когда Феликса с жаром обнимали слабенькие руки матери и к щеке прикасались ее сухие мягкие губы, в нем просыпались угрызения совести. Почему он не умеет выражать свои чувства

так просто и искренне, как она? Он смотрел, как она прижимает эти губы к щеке Недды, слушал, как она говорит.

— Ах, милочка моя, как я счастлива тебя видеть! Ты знаешь, как это помогает от комариных укусов! — Рука нырнула в карман и достала оттуда обернутый в серебряную бумагу карандашик с синеватым острием. Феликс увидел, как карандашик взметнулся над лбом Недды и два раза быстро в него ткнулся. — Они тут же проходят!

— Бабушка, но это совсем не от комаров. Это натерла шляпа.

— Все равно, милочка, от него все проходит.

А Феликс подумал: «Нет, мама — изумительный человек!»

Автомобиль стоял возле дома — из него уже вынесли их вещи. Дождался их только один слуга, но зато, безусловно, дворецкий! Войдя, они сразу почувствовали особый запах цветочной смеси, которую употребляла Клара. Этот запах струился из синего фарфора, из каждого отверстия и уголка, словно природный запах роскоши. Да и от самой Клары, сидевшей в утренней гостиной, казалось, исходил тот же запах. Темноглазая, с быстрыми движениями, ловкая, еще миловидная, подтянутая, она превосходно умела приспособиться к вкусам своего времени и ни в чем от них не отставать. Вдобавок к этому бесценному свойству она

обладала хорошим нюхом, инстинктивным светским тактом и искренней страстью делать жизнь для людей как можно более удобной; не удивительно, что слава ее как хозяйки салона росла, а ее дом ценили и те, кто любил во время субботнего отдыха чувствовать заботу о своей брэнной плоти. Даже Феликс, несмотря на иронический склад ума, не решался перечить Кларе и обличать порядки Бекета, — вопрос был чересчур деликатный. Одна только Фрэнсис Фриленд (и не потому, что у нее были какие-нибудь философские воззрения на этот счет, а потому, что «неприлично, дорогая, быть такой расточительной», если дело и касается всего лишь сушеных розовых лепестков, или «чересчур украшать дом», например, вешать японские гравюры в тех местах, куда... гм...), одна она иногда делала замечания невестке, хотя это и не производило на ту ни малейшего впечатления, ибо Клара не была впечатлительной, и к тому же, как она говорила Стенли, это ведь «всего только мама».

Когда они выпили особого китайского чаю, который был последним криком моды, но никому, по правде говоря, не нравился, в интимной утренней, или малой, гостиной — парадные гостиные были слишком велики и недостаточно уютны, чтобы сидеть там в будни, — они пошли поздороваться с детьми, которые все представляли собой некую смесь Стенли и Клары (за

исключением маленького Фрэнсиса — у него не так явно преобладала «бренная плоть»). Потом Клара проводила их в отведенные им комнаты. Она любезно задержалась в комнате у Недды, подозревая, что девочка еще не чувствует себя тут как дома, заглянула в мыльницу — положено ли туда хорошее мыло с запахом вербены, взглянула на туалетный стол — есть ли там шпильки, духи и достаточное количество цветочной смеси, и подумала: «Девочка прехорошенькая и милая — не то, что ее мать». Подробно объяснив, почему ее поместили ввиду субботнего съезда гостей в «такую скромную комнату», откуда ей придется перейти коридор, чтобы попасть в ванную, Клара спросила, есть ли у племянницы стеганый халат, и, услышав отрицательный ответ, вышла, пообещав прислать ей это необходимое одеяние; может ли она сама застегнуть платье, или прислать ей Сиррет?

Девушка осталась одна посреди комнаты — в такой «скромной» спальне она очутилась впервые. В ней стоял нежный аромат розовых лепестков и вербены, пол был устлан обюссонским ковром, кровать покрыта стеганым одеялом из белого шелка, все это дополняли кушетка с множеством подушек, изящные занавески и никелированный ящичек для сухариков на столике с гнутыми ножками. Недда постояла, наморщив нос, вдохнула

запах, потянулась и мысленно решила: «Очень мило, но только слишком сильно пахнет!» Потом она принялась рассматривать картины, одну за другой. Они отлично подходили к комнате, но Недда вдруг захотелось домой. Это просто смешно! Однако если бы она знала, где находится комната отца, она тут же побежала бы к нему; но все эти лестницы и коридоры перепутались в ее голове, даже дорогу назад, в прихожую, она нашла бы лишь с трудом.

Вошла горничная и принесла голубой шелковый халат, очень теплый и мягкий. Может она чем-нибудь помочь мисс Фриленд? Нет, спасибо, ничем, но не знает ли она, где комната мистера Фриленда?

— Какого мистера Фриленда, мисс: старого или молодого?

— Конечно, старого! — Сказав это, Недда огорчилась: отец ее совсем не стар.

— Не знаю, мисс, но сейчас спрошу. Наверно, в каштановом флигеле.

Испугавшись, что своим вопросом она заставит людей бегать по множеству флигелей, Недда пробормотала:

— Спасибо, не надо... Это не так важно...

Она уселась в кресло и стала глядеть в окно, стараясь рассмотреть все до дальней гряды холмов, окутанных синеватой дымкой теплого летнего

вечера. Это, должно быть, Молверн, а там, еще дальше к югу, живут «Тоды». Джойфилдс — красивое название! Да и края здесь красивые — зеленые и безмятежные, с белыми домиками, которые так чудно оттеняются темными бревнами. Наверно, люди в этих белых домиках счастливы, им хорошо и покойно здесь, как звездам или птицам; не то, что в Лондоне, где толпы теснятся на улицах, в магазинах и на Хемпстед-Хит, не то, что вечно недовольным жителям предместий, которые тянутся на много миль, туда, где Лондону давно бы пора было кончиться; не то, что тысячам и тысячам бедняков в Бетнал-Грин, где она бывала с матерью, членом общества помощи обитателям трущоб. Да, местный люд, наверно, очень счастлив. Но есть ли тут он, этот местный люд? Она его что-то не видела. Справа под ее окном начинался фруктовый сад: для многих деревьев весна уже миновала, но яблони только зацвели, и низкие солнечные лучи, пробившиеся сквозь ветви дальних вязов, косо легли на их розовую кипень, кропя ее, как подумалось Недде, каплями света. И как красиво звучало пение дроздов в этой тишине! До чего же хорошо быть птицей, летать, куда вздумается, и видеть с вышины все, что творится на свете; а потом скользнуть вниз по солнечному лучу, напиться росы, сесть на самую верхушку огромного дерева; пробежаться по высокой траве так, чтобы

тебя не было видно; снести ровненькое голубовато-зеленое яичко или жемчужно-серое в крапинку; всегда носить один наряд и все равно оставаться красивой! Ведь, право же, душа вселенной живет в птицах и в летучих облаках, и в цветах и деревьях, которые всегда ароматны, всегда прекрасны и всегда довольны своей судьбой. Почему же ее томит беспокойство, почему ей хочется того, что ей не дано, — чувствовать, знать, любить и быть любимой? И при этой мысли, которая так неожиданно к ней пришла и еще никогда так ясно не была ею осознана, Недда положила локти на оконную раму и подперла ладонями подбородок. Любовь! Это значит человек, с которым можно всем поделиться, кому и ради кого можно все отдать, кого она может оберегать и утешать, человек, который принесет ей душевный мир. Мир... отдых — от чего? Ах, этого она сама не понимала! Любовь! А какая же она будет, эта любовь? Вот ее любит отец и она любит его. Она любит мать, да и Алан, в общем, к ней хорошо относится, но все это не то. Но что же такое любовь и где она, когда придет, разбудит ее и убаюкает поцелуем? Приди, наполни мою жизнь теплом и светом, прохладой, солнцем и мглой этого прекрасного майского вечера, напои сердце до отказа пением этих птиц и мягким светом, согревающим цветы яблони! Недда вздохнула. И

тут — внимание молодости всегда непостоянно, как мотылек, — взгляд ее привлекла худая фигура с высоко поднятыми плечами; она, хромая и опираясь на палку, удалялась от дома по тропинке среди яблонь. Затем человек этот неуверенно остановился, словно не зная дороги. Недда подумала: «Бедный старик! Как он хромает!» Она увидела, как он сгорбился, думая, что его не видно за деревьями, и вынул из кармана что-то маленькое. Он долго рассматривал этот предмет, потер его о рукав и спрятал обратно. Что это было, Недда издалека не видела. Потом, опустив руку, он начал разминать и растирать лодыжку. Глаза его, казалось, были закрыты. Он постоял неподвижно, как каменный, а потом медленно захромал прочь, пока не скрылся из виду. Отойдя от окна, Недда стала поспешно переодеваться к обеду.

Когда она была готова, она еще долго раздумывала, надеть ли ей мамины кружева сейчас или приберечь их до приезда «шишек». Но шарф был такой красивый и нежно-кремовый, что она так и не смогла его снять и все продолжала вертеться перед зеркалом! Глядеться в зеркало было глупо, старомодно, но Недда ничего не могла с собой поделать, — ей так хотелось быть красивее, чем на самом деле, ведь когда-нибудь придет же то, чего она ждет!

А на самом деле она была хорошенькая, но не

просто хорошенькая: в ее лице была живость, доброта, что-то светлое и стремительное. У нее все еще была детская манера быстро поднимать глаза и смотреть открыто, с невинным любопытством, за которым ничего нельзя было прочесть; но когда она опускала глаза, казалось, что они закрыты: так длинны были темные ресницы. Полукружия широко расставленных бровей с небольшим изломом к виску чуть-чуть спускались к переносице. Чистый лоб под темно-каштановыми волосами; на маленьком подбородке ямочка. Словом, от этого лица нельзя было отвести глаз. Но Недда не страдала тщеславием; ей казалось, что лицо у нее слишком широкое, глаза — слишком темные и неопределенного цвета: не то карие, не то серые. Нос, слава богу, прямой, но слишком короткий. Кожа у нее была матовая и легко загорала, а ей хотелось быть белой, как мрамор, с голубыми глазами и золотыми кудрями или же походить на мадонну. Да и рост у нее, пожалуй, слишком мал. И руки худые. Единственное, чем она была довольна, — это ногами, которых сейчас она, правда, не видела, но они у нее и в самом деле совсем недурны! Потом, испугавшись, что опаздывает, она отвернулась от зеркала и с трепещущим сердцем нырнула в лабиринт коридоров и лестниц.

ГЛАВА VI

Клара, жена Стенли Фриленда, была женщина крупная и в физическом смысле и в духовном; много лет назад, вскоре после замужества, она заявила о намерении завязать знакомство со своей невесткой Кэрстин, несмотря на слухи о ее бог знает каких взглядах. То были времена карет, упряжек, грумов и кучеров, и, приказав подать себе все это сразу, она со свойственной ей решительностью немедленно пустилась в путь. Можно без всякого преувеличения сказать, что этот визит запомнился ей на всю жизнь.

Представьте себе древний, выбеленный деревянный дом, крытый соломой, в котором давным-давно все покосилось. Дом, пришедший в неописуемую ветхость, до самой крыши заросший вьющимися розами, плющом и жимолостью, высоко взгромоздившийся над перекрестком дорог. Дом, почти недоступный для посторонних из-за своих ульев и пчел — к этим насекомым Клара питала глубочайшее отвращение. Представьте себе неудобную каменистую дорожку к двери этого дома (а Клара носила изящную обувь) и на ней — странное подобие люльки с черноглазым ребенком, спокойно взирающим на двух пчел, которые дремлют на покрывале из грубого полотна, какого Кларе в жизни не приходилось видеть. Представьте

себе совершенно голую девчушку лет трех, принимающую солнечную ванну на пороге дома. Клара быстро повернулась и закрыла плетеную калитку, отделявшую каменистую дорожку от поросших мхом ступенек, которые вели туда, где сидели и кучер и лакей, неподвижные, как изваяния, — такая уж у этих людей привычка. Клара сразу поняла, что визит обещает быть не совсем обычным. Тогда она набралась мужества, двинулась вперед и, глядя с испуганной улыбкой на девчушку, постучала в дверь рукояткой зеленого зонтика. В дверях появилась женщина моложе ее — совсем! еще юное существо. Потом Клара рассказала Стенли, что никогда не забудет своей первой встречи (второй с тех пор так и не произошло) с женой Тода. Загорелое лицо, черные волосы, под черными ресницами — горящие серые глаза, которые, казалось, излучали свет, и «какая-то странная улыбка»; блуза из того же грубого желтоватого полотна оттеняла обнаженные руки и шею — загорелые и красивые, а из-под ярко-синей юбки выглядывали загорелые щиколотки босых ног! Голос такой убийственно тихий, что, как потом говорила Клара: «У меня просто мурашки побежали по телу, — а тут еще эти глаза! А кругом, дорогой мой, — продолжала она, — голые, оштукатуренные стены, голый кирпичный пол, ни единой картины, ни занавесочки, даже не видно щипцов для угля в

камине. Чисто — просто до ужаса! Они, видно, совсем чудаки. Единственное, не скрою, что там было приятно, — это запах. Пахло розами, медом, кофе и печеными яблоками — просто чудо! Надо попробовать завести и у нас такой запах. Но при виде этой женщины, вернее, еще девчонки, у меня отнялся язык. Я не сомневаюсь, что она бы меня просто съела, вздумай я завести с ней обычный разговор. Дети были, в общем, очень милы. Но бросать их среди пчел! Кэрстин! Подходящее имя! Нет, спасибо! Ноги моей больше там не будет! А Тода я так и не видела: наверное, где-нибудь замечтался среди своих животных!»

С той встречи прошло семнадцать лет, но, вспомнив о ней, Клара снисходительно улыбнулась, когда Стенли рассказал ей о семейном совете. Она тут же заявила, что Феликс должен остановиться у них, а со своей стороны, она рада оказать любую помощь бедным детям Тода, даже пригласить их в Бекет и постараться их хоть чуточку цивилизовать... «Но что касается этой женщины, тут уж, уверяю тебя, ничего не поделаешь. А Тод, наверно, у нее под башмаком».

С Феликсом, который вел ее к столу, она говорила очень воодушевленно, но вполголоса. Феликс ей нравился, несмотря на его жену; она его уважала: он ведь был человек знаменитый. Леди Маллоринг, рассказывала она ему, — а Маллоринги

владеют всей землей вокруг Джойфилдса — жаловалась ей, что жена Тода за последнее время просто помешалась на земельном вопросе. Тоды заодно со всеми батраками. Лично она, Клара, не против тех, кто сочувствует положению земледельцев, совсем наоборот! Бекет, как Феликсу известно, чуть ли не центр этого движения, хотя не ей, конечно, это говорить; но всякую вещь можно сделать по-разному. И, право же, нельзя терпеть, чтобы женщины вроде этой Кэрстин — о, это невозможное кельтское имя! — совали свой нос в дела государственной важности. Тут буйством ничего не добьешься! Если Феликс имеет хоть какое-нибудь влияние на Тода, хорошо бы его уговорить хоть на время услать этих бедных детей из дому, чтобы они могли немного побыть с людьми здравомыслящими! Она охотно пригласила бы их в Бекет, но с такими взглядами у них, вероятно, нет даже приличного платья! (Она никак не могла забыть эту голую малышку, принимавшую солнечную ванну, или бедного младенца, покрытого дерюгой и пчелами.)

Феликс почтительно ответил — в чужих домах он держался изысканно вежливо и позволял себе лишь легкую иронию, — что он глубоко уважает Тода и думает, что вряд ли женщина, которой брат так предан, может обладать действительно серьезными недостатками. А на

детей он напустит свою молодежь, — они разузнают все, что там делается, куда быстрее, чем такой пожилой и старомодный человек, как он. Что же касается земельного вопроса, на него существует много точек зрения, и он, например, рад был бы ознакомиться еще с одной. В конце концов Тоды непосредственно соприкасаются с батраками, а это самое главное. Ему будет очень интересно узнать их мнение.

Да, Клара все это понимает, но... тут она так понизила голос, что он совсем пропал — раз Феликс туда едет, она должна объяснить ему самую суть дела. Леди Маллоринг рассказала ей всю эту историю. Истории, в сущности, две: там проживает семья по фамилии Гонт — старик и его сын, у которого две дочери; одна из них, Алиса, славная девушка, служит судомойкой здесь, в Бекете, но ее сестра, Уилмет... Ну что ж, Феликс, должно быть, знает, что подобные девицы бывают в каждой деревне. Она совращала молодых людей, и леди Маллоринг решила это пресечь; она передала через своего управляющего тому фермеру, у которого работает Гонт, что их семье придется уехать, если он не отошлет куда-нибудь эту девицу. Это один случай. А другой — это батрак по фамилии Трайст, который хочет жениться на сестре своей покойной жены. Конечно, у Милдред Маллоринг, может быть, слишком уж пуританский взгляд на вещи,

поскольку такие браки разрешены, — Клара тут не судья; но в конце концов, если она считает, что деревенские нравы надо оберегать, то она в своем праве. Этот Трайст — хороший работник, фермеру не хотелось его терять, но леди Маллоринг, конечно, настояла на своем; если этот субъект будет упорствовать, его выгонят. А так как все дома по соседству принадлежат сэру Джералду Маллорингу, то, значит, в обоих случаях людям придется покинуть округу. Феликс сам знает, что в вопросах деревенской нравственности нельзя давать поблажек...

Феликс невозмутимо прервал ее:

— Я бы не давал их леди Маллоринг.

— Ну, об этом мы говорить не будем. Но, право, когда жена Тода подбивает своих детей возмущать умы крестьян — это уже из рук вон! Бог знает, к чему это может привести. Земли и дом Тода — его собственность, он единственный мелкий землевладелец в наших краях, а то, что он брат Стенли, ставит Маллорингов в особенно затруднительное положение.

— О, конечно! — пробормотал Феликс.

— Однако, дорогой Феликс, внушать этим простодушным людям преувеличенные понятия о их правах — вещь очень опасная, особенно в деревне. Я слышала, что народ там возбужден. Алиса Гонт мне говорила, будто молодые Тоды

повсюду заявляют, что собакам и тем лучше живется, чем людям, с которыми так обращаются; вы сами понимаете, какая это чушь! Нечего делать из мухи слона! Разве не так?

Феликс улыбнулся своей странной, чуть приторной улыбкой и ответил:

— Я рад, что приехал именно сейчас.

Клара, не зная, что Феликс так улыбается, только когда очень сердит, не замедлила с ним согласиться.

— Да, вы человек наблюдательный. Вы сумеете увидеть все в правильном свете.

— Попытаюсь. А что говорит Тод?

— Ах! Да Тод, по-моему, никогда ничего не говорит. Мне, во всяком случае, его мнение неизвестно.

— Тод — источник в пустыне, — пробормотал Феликс.

Клара не нашлась, что ответить на это глубокое замечание, — она, впрочем, его даже не поняла.

Вечером, когда Алан, всласть наигравшись на бильярде, покинул курительную и отправился спать, Феликс осведомился у Стенли:

— Послушай, а что собой представляют эти Маллоринги?

Стенли, который готовился провести последние двадцать минут перед сном за виски с

содой и «Обозрением», чем он обычно успокаивал свои нервы на ночь, небрежно ответил:

— Маллоринги? Да, пожалуй, лучшая разновидность помещика, какая у нас есть.

— Что ты под этим подразумеваешь?

Стенли не торопился ответить: за его грубоватым добродушием скрывалась хоть и несколько ограниченная, но зато упорная приверженность к фактам, отличающая английского дельца; к тому же он не очень-то доверял «старине Феликсу».

— Ну что ж, — ответил он наконец, — они строят своим арендаторам хорошие дома, из желтого кирпича... безобразные, признаться, как смертный грех; следят за нравственностью тех, кто там живет; когда неурожай, делают скидку в арендной плате; поощряют племенное скотоводство и покупку машин — купили даже несколько моих плугов, но крестьяне ими недовольны, и, между нами говоря, они правы: плуги не предназначены для таких маленьких участков... Аккуратно ходят в церковь, чтобы показать пример своим арендаторам, покровительствуют стрелковому обществу, скупают, когда удастся, кабаки и держат их в своих руках; посылают больным желе и пускают посетителей к себе в парк на праздники. Черт возьми, чего только они не делают! А почему ты спрашиваешь?

— Их любят?

— Любят? Нет, не думаю, чтобы их любили, но зато уважают и все такое... Маллоринг — человек солидный и вполне деловой, заботливый землевладелец и настоящий джентльмен; она, пожалуй, чересчур набожна. У них один из самых красивых домов эпохи Георгов во всей Англии. Словом, они, как говорится, «образцовые» хозяева.

— Но бесчеловечные.

Стенли опустил «Обозрение» и поглядел поверх него на брата. Ему было ясно, что на «старину Феликса» снова напало свободомыслие.

— Они домоседы, — возразил он, — любят своих детей и приятные соседи. Не буду спорить: у них чересчур сильно развито чувство долга, но в наши дни это нужно.

— Долга по отношению к чему?

Стенли вздернул брови. Вот это вопрос! Того и гляди, заберешься в философские дебри и попадешь в тупик!

— Если бы ты жил в деревне, старина, ты не стал бы задавать таких вопросов.

— Неужели ты воображаешь, что вы или Маллоринги живете в деревне? Милый, вы, землевладельцы, такие же горожане, как я: и образ мыслей, и привычки, и одежда, и убеждения, и душа — все у вас городское. Для нас, людей, принадлежащих к «высшим классам», в Англии нет

больше «деревни». Она уже не существует. Повторяю: долг по отношению к чему?

Встав, он подошел к окну и стал смотреть на залитую луною лужайку: ему вдруг опротивел этот разговор. Разве дойдут слова человека, настроенного на один лад, до человека, настроенного на другой? Однако в него так въелась привычка спорить, что он тут же продолжал:

— Ничуть не сомневаюсь, что Маллоринги искренне верят, будто их долг — следить за нравственностью людей, живущих на их земле. На это можно сказать следующее: во-первых, вы не можете сделать людей нравственнее, став в позицию школьного наставника; во-вторых, из этого следует, что они считают себя более нравственными, чем их ближние. В-третьих, эта теория настолько удобна для их благополучия, что они были бы на редкость хорошими людьми, если бы ею не воспользовались, но, по твоим же словам, они просто обыкновенные, порядочные люди. То, что ты называешь чувством! долга, на самом деле у них только чувство самосохранения, к которому примешивается чувство превосходства.

— Гм-м!.. — проворчал Стенли. — Я не очень-то понимаю, куда ты гнешь.

— Всю жизнь я ненавидел запах ханжества. Я предпочел бы, чтобы они сказали прямо и открыто: «Это — моя земля, и, живя на ней, уж будьте

любезны поступать так, как я вам говорю!»

— Но, милый мой, в конце-то концов, они имеют право чувствовать свое превосходство над этими людьми!

— В этом я позволю себе усомниться самым решительным образом! — сказал Феликс. — Заставь твоих Маллорингов самих зарабатывать себе на хлеб и жить на пятнадцать — восемнадцать шиллингов в неделю, хороши они будут! У Маллорингов, наверно, есть свои достоинства. Еще бы, ведь в каких благоприятных условиях они живут! Но что касается подлинных добродетелей: терпения, стойкости, постоянной, почти органической готовности жертвовать собой, бодрости вопреки всем тяготам, — в этом они столь же уступают тем людям, которых презирают, как я тебе в деловых качествах.

— Черт возьми! — воскликнул Стенли. — А ты все-таки ужасный смутьян!

Феликс нахмурился.

— Ты думаешь? Но будь же честен. Возьми жизнь такого Маллоринга, лучшего из них, и сравни ее с точки зрения самых простых добродетелей с жизнью среднего фермера-арендатора или батрака. Твоего Маллоринга поднимают из удобной, чистой и теплой постели, принеся ему чашку чая, скажем, в семь часов утра; он влезает в ванну, которую ему

приготовили, а потом в костюм и башмаки, которые ему почистили, после чего спускается в комнату, где уже затоплен камин, если на дворе холодно; пишет кое-какие письма, а потом садится за завтрак и ест то, что хочет, вкусно для него приготовленное, и читает ту газету, которая ему приятнее других; поев и почитав, он закуривает сигару или трубку и переваривает пищу по всем правилам комфорта и гигиены; потом он садится за стол в своем кабинете и принимается руководить другими людьми либо устно, либо письменно. И, таким образом, распоряжаясь другими людьми и поглощая пищу в свое удовольствие, он проводит весь день, если не считать того, что два-три часа, а иногда и семь или восемь, он, заботясь о своем здоровье, ездит верхом, катается в автомобиле, играет в теннис или гольф или занимается тем видом спорта, который предпочитает. А после этого он скорее всего опять принимает ванну, которую ему налили, надевает чистую одежду, которую ему подали, садится за сытный обед, который ему приготовили, курит, читает и переваривает пищу, либо играет в карты, на бильярде, либо занимает гостей до тех пор, пока его не клонит ко сну, а затем его ждет опять чистая, теплая постель в чистой, хорошо проветренной комнате... Разве я преувеличиваю?

— Нет, но когда ты говоришь о том, что он

распоряжается другими людьми, не забудь, что он делает то, чего они делать не могут.

— Пусть он даже делает то, чего они не могут, но обычно способность руководить другими не является прирожденной, ее вырабатывают привычка и опыт. Представь себе, что по воле судьбы Маллоринг при рождении поменялся бы местом с Гонтом или Трайстом. Тогда они обладали бы этой способностью, а он — нет. И только потому, что при их рождении ничего подобного не случилось, огромное преимущество получает Маллоринг.

— Руководить — дело нешуточное, — проворчал Стенли.

— Всякая работа — дело нешуточное, но я тебя опрашиваю: говоря о самой работе, а не о том, что ты за нее получаешь, ты бы хоть на минуту захотел променять свой труд на труд одного из твоих рабочих? Нет. Равно как и Маллоринг на труд какого-нибудь из своих Гонтов. И вот, мой милый, Маллоринг получает за работу, несравненно более интересную и приятную, в сто и даже в тысячу раз больше денег, чем Гонт.

— Но ведь то, что ты говоришь, — чистойшей воды социализм, мой милый.

— Нет, чистойшая правда. Теперь представим себе жизнь Гонта. Встает он зимой и летом гораздо раньше, чем Маллоринг. У него нет ни денег, ни

времени следить за тем, чтобы постель его была очень теплой и очень чистой, да и комната, где он спал, мала, и оконце в ней небольшое. Встав, он влезает в одежду, заскорузлую от пота, и в башмаки, заскорузлые от глины; готовит себе что-нибудь горячее, а может, и относит чай жене и детям; выходит из дома, не имея возможности позаботиться о своем пищеварении, работает не покладая рук с половины седьмого утра до пяти часов вечера, с двумя перерывами на то, чтобы съесть простую пищу, отнюдь не по своему вкусу. Возвращается домой к чаю, который ему приготовили, немножко приводит себя в порядок сам, без чужой помощи; выкуривает трубку дешевого табака; читает газету двухдневной давности и идет поработать уже для себя, на собственный огород, или посидеть на деревянной лавке в табачном дыму и пивных парах. А потом, смертельно усталый, но не оттого, что руководил другими, он рано ложится спать в свою сомнительной чистоты постель. Я преувеличиваю?

— Думаю, что нет. Но он...

— Кое-чем вознагражден? Чистой совестью... спокойной душой... чистым воздухом и так далее! Знаю, знаю. Чистой совестью, согласен, но, по-моему, и твоего Маллоринга не очень-то мучает совесть. Спокойная душа — да, пока не прохудились башмаки или не заболел кто-нибудь из

детей; тогда уж ему есть о чем беспокоиться! Свежий воздух, но зато и промокшая насквозь одежда — прекрасная возможность смолоду заполучить ревматизм. Говоря откровенно, какой образ жизни требует больше добродетелей, на которых зиждется наше общество: мужества, терпения, стойкости и самопожертвования? И кто из этих двоих имеет больше права на «превосходство»?

Стенли бросил «Обозрение» и молча заходил по комнате. Потом он сказал:

— Феликс, ты проповедуешь революцию.

Феликс, следивший с легкой улыбкой за тем, как он шагает по турецкому ковру, ответил:

— Ничуть. Я совсем не революционер, потому что, как бы мне этого ни хотелось, я не верю, что потрясение основ снизу или насилие вообще может создать равенство между людьми или принести какую-нибудь пользу. Но я ненавижу лицемерие и считаю, что пока ты и твои Маллоринги не перестанете усыплять себя лицемерными фразами о долге и превосходстве, вы не поймете истинного положения вещей, а пока вы не поймете истинного положения вещей, не прикрытого всем этим отвратительным ханжеством, никто из вас и пальцем не шевельнет, чтобы сделать жизнь более справедливой. Пойми одно, Стенли, я, не веря в революцию снизу, неукоснительно верю в то, что

революционное изменение жизни сверху— это дело нашей чести!

— Гм!.. — проворчал Стенли. — Все это прекрасно, но чем больше им даешь, тем больше они требуют, и конца этому не видно.

Феликс оглядел комнату, где в самом деле человек забывал обо всем, кроме своей брэнной плоти.

— Черт возьми, а я еще не видел даже начала! Но если ты будешь давать нехотя или с назиданием, словно малым детям, на что ты можешь рассчитывать? А если даешь от душевной щедрости, то твой дар так и будет принят.

И вдруг, почувствовав, что уже дает советы, Феликс опустил глаза и добавил:

— Пойду-ка я в свою чистую, теплую постель. Спокойной ночи, старина!

Когда брат взял свой подсвечник и удалился, Стенли, неопределенно хмыкнув, опустился на диван, как следует отхлебнул из стакана и снова принялся за свое «Обозрение».

ГЛАВА VII

На следующий день автомобиль Стенли с Феликсом и запиской от Клары быстро понесся в Джойфилдс по обрамленным травой дорогам. Откинувшись на мягкие подушки и чувствуя, как

теплый ветерок овеивает его лицо, Феликс с наслаждением созерцал свои любимые пейзажи. Право же, эта зелень, деревья, пятнистые ленивые коровы выглядят удивительно красивыми, и даже отсутствие человека было ему приятно.

Неподалеку от Джойфилдса он увидел парк Маллорингов и их длинный дом восемнадцатого века, заботливо обращенный фасадом к югу. Затем показался деревенский пруд, если можно было говорить тут о деревне, и в нем, разумеется, плавали утки; дальше стояли рядом три домика. Феликс их прекрасно помнил: они были чистенькие, аккуратные, крытые соломой и явно подновленные. Из дверей одного из них вышли двое молодых людей и повернули в ту же сторону, что и автомобиль. Феликс проехал мимо и, оглянувшись, посмотрел на них повнимательнее. Ну да, это они! Он попросил шофера остановиться. Те двое шли, глядя прямо перед собой и хмурясь. И Феликс подумал: «Ни капли сходства с Тодом в обоих: чистокровные кельты!»

Живое, открытое лицо девушки, вьющиеся каштановые растрепанные волосы, яркий румянец на щеках, пухлые губы; глаза, чем-то похожие на глаза скайтерьера, выглядывающие из-под косматой шерсти, — весь ее облик показался Феликсу даже несколько пугающе энергичным; да и шагала она так, будто презирала землю, которую

попирали ее ноги. Внешность юноши была еще более разительной. Какое странное смугло-бледное лицо, черные волосы (он был без шляпы), прямые черные брови — горделивый, тонкогубый, прямоносый молодой дьявол с глазами лебеда и походкой настоящего горца, но и чуть-чуть еще нескладный. Когда они поравнялись с автомобилем, Феликс, высунувшись из окна, сказал:

— Боюсь, вы меня не помните!

Юноша покачал головой. Поразительные глаза! Но девушка протянула руку:

— Что ты, Дирек, это же дядя Феликс!

И оба улыбнулись — девушка очень приветливо, юноша сдержанно. И вдруг, почувствовав себя как-то до странности неловко, Феликс пробормотал:

— Я еду в гости к вашему отцу. Хотите, подвезу вас до дома?

Ответ был тот, какого он и ожидал:

— Нет, спасибо. — Но потом, словно желая смягчить свой отказ, девушка добавила: — Нам еще кое-что надо сделать. Отец, наверно, в фруктовом саду.

Голос у нее был звучный, полный сердечности. Приподняв шляпу, Феликс поехал дальше. Что за пара! Странная, полная прелести, чем-то пугающая. Ну и деток же принесла брату Кэрстин!

Подъехав к дому, он поднялся по мшистым ступеням и отворил калитку. Со времени визита Клары здесь мало что изменилось — только ульи переставили подальше. На его стук никто не ответил, и, вспомнив слова девушки: «Отец, наверно, в фруктовом саду», — он направился туда. Трава была высокой, и по ней были рассыпаны белые лепестки. Феликс брел по ней среди пчел, гудевших в яблоневом! цвету. В конце сада он увидел брата, рубившего грушу. Тод был в рубашке, обнажавшей чуть не до плеч загорелые руки. Ну и силач! Какие могучие, звенящие удары он наносил по стволу! Дерево рухнуло, и Тод вытер рукой лоб. Этот огромный, смуглый, кудрявый человек выглядел еще великолепно, чем помнилось Феликсу, и был так прекрасно сложен, что каждое его движение казалось легким. Лицо у него было широкое с выдающимися скулами; брови густые и немножко темнее золотистых волос, поэтому его глубоко посаженные ярко-синие глаза смотрели словно из чащи; ровные, белые зубы сверкали из-под рыжеватых усов, а смуглые небритые щеки и подбородок, казалось, были присыпаны золотой пудрой. Заметив Феликса, он пошел ему навстречу.

— Подумать только, — сказал он, — что старик Гладстон проводил свой досуг, рубя деревья! Какое грустное занятие!

Феликс не очень понимал, что надо на это ответить, поэтому он просто взял брата под руку. Тод подвел его к дереву.

— Садись! — сказал он. Потом печально поглядел на грушу и пробормотал — Семьдесят лет росло и в семь минут погибло. Теперь мы ее сожжем. Что ж, с ней надо было расстаться. Она уже три года не цвела.

Говорил он медленно, как человек, привыкший думать вслух. Феликс смотрел на него с удовольствием.

«Можно подумать, что мы живем рядом, — сказал себе Феликс, — по тому, как он отнесся к моему появлению!»

— Я приехал в автомобиле Стенли, — сообщил он брату. — На дороге видел твоих ребят — прекрасная пара!

— А!.. — сказал Тод. И в его тоне прозвучали не просто гордость или отцовская любовь. Потом он поглядел на Феликса.

— Зачем ты приехал, старина?

Феликс улыбнулся. Странный вопрос!

— Поговорить.

— А!.. — сказал Тод и свистнул.

На свист его прибежал довольно большой, сильный пес с блестящей черной шерстью, белой грудью и черным хвостом с белой кисточкой; он встал перед Тодом, слегка наклонив голову набок;

его желтовато-коричневые глаза говорили:

«Пойми, я должен догадаться, о чем ты сейчас думаешь!»

— Ступай, скажи хозяйке, чтобы она пришла. Хозяйке!

Пес помотал хвостом, опустил его и убежал.

— Мне его дал один цыган, — сказал Тод. — Самая лучшая на свете собака.

— Эх, старина, так все говорят про своих собак!

— Да, — кивнул Тод. — Но эта и правда самая лучшая.

— Морда у нее умная.

— У нее есть душа, — сказал Тод. — Цыган клялся, что он ее не украл, но это неправда.

— А ты разве всегда знаешь, когда люди говорят неправду?

— Да.

Услышав такое чудовищное заявление от любого другого, Феликс непременно улыбнулся бы, но так как это был Тод, он только спросил:

— Откуда?

— Когда люди говорят неправду, они всегда смотрят тебе в лицо, но взгляд у них неподвижный.

— У некоторых это бывает, когда они говорят правду.

— Да, но когда они лгут, ты видишь, как они стараются, чтобы взгляд у них не блуждал. Собака

не смотрит тебе в глаза, когда хочет что-то скрыть, а человек смотрит слишком пристально. Послушай!

Феликс прислушался, но ничего не услышал.

— Крапивник! — И, сложив трубочкой губы, Тод издал какой-то звук. — Смотри!

Феликс увидел на ветке яблони крошечную коричневую птичку с острым клювиком и вздернутым хвостиком. И подумал: «Тод неисправим!»

— У этого малыша тут рядом, за нашей спиной, гнездо, — тихо сказал Тод. Он снова издал тот же звук. Феликс увидел, как птичка с необычайным любопытством повернула голову и дважды подпрыгнула на ветке.

— А вот самочку никак не могу этому научить, — прошептал Тод.

Феликс положил руку брату на плечо, — ну и плечи!

— Да-да, — сказал он, — но послушай, старина, мне действительно надо с тобой поговорить.

Тод помотал головой.

— Подожди ее, — сказал он.

Феликс стал ждать. Тод становится совсем чудачком, ведя уже много лет такую странную, отшельническую жизнь, наедине со взбалмошной женой: ничего не читает, никого не видит, кроме бродяг, животных и крестьян. Но почему-то, сидя

здесь, на поваленном дереве, рядом со своим чудаковатым братом, Феликс испытывал необычное ощущение покоя. Может быть, потому, что день был такой ясный, благоуханный, солнечные зайчики зажигали яблоневый цвет, а кругом росли анемоны и кислица, и в синем небе над полями плыли невообразимой белизны облака. Ухо его ловило малейшие звуки, которые здесь, в саду, были полны особого значения и странной глубины, будто слышишь их впервые. Тод, глядевший на небо, вдруг спросил:

— Есть хочешь?

И Феликс вспомнил, что тут не едят по часам, а, проголодавшись, идут в кухню, где в очаге всегда пылает огонь, и либо подогревают кофе и овсянку — приготовленную раньше — и едят ее вместе с вареными яйцами, печеной картошкой и яблоками, либо закусывают хлебом с сыром, вареньем, медом, сливками, помидорами, маслом, орехами и фруктами, — все это всегда стоит на столе, прикрытое кисеей; он вспомнил также, что все они сами моют после себя миски, тарелки и ложки, а поев, выходят во двор и пьют студеную воду из колодца. Станный образ жизни, дьявольски неудобный, — они, почти как китайцы, делают все иначе, чем принято у нас.

— Нет, — сказал он. — Не хочу.

— А я хочу. Вот она.

Феликс почувствовал, как у него забилося сердце, — не одна Клара боялась этой женщины. Она шла по саду с собакой — да, поразительная у нее внешность, просто поразительная! Увидев Феликса, она не удивилась и, сев рядом с Тодом, сказала:

— Я рада вас видеть.

Почему все в этой семье заставляют его чувствовать себя существом низшего порядка? Как она спокойно его разглядывала! А потом сузила глаза и наморщила губы, будто подумала что-то очень ехидное! В ее волосах — как это бывает всегда с иссиня-черными, тонкими и шелковистыми волосами, — уже появились серебряные нити; лицо и фигура похудели за то время, что он ее не видел. Но она до сих пор была очень интересной женщиной, глаза у нее просто поразительные! Да и одета, — Феликс навидался на своем веку чудачек, — совсем не так чудовищно, как тогда показалось Кларе: ему нравилось ее синее платье из домотканого полотна, вышитое вокруг ворота, и он с трудом оторвал взгляд от сапфировой повязки, которой она стянула свои черные с проседью пряди.

Он начал с того, что передал ей записку Клары, которую та написала под его диктовку:

«Дорогая Кэрстин!

Хотя мы так давно не виделись,

Вы, надеюсь, простите мне, что я Вам пишу. Нам доставило бы большое удовольствие, если бы Вы с обоими Вашими детьми погостили у нас день-другой, в то время, пока у нас гостят Феликс и его молодежь. Боюсь, что Тода звать бесполезно, но, конечно, если он приедет, и Стенли и я будем в восторге.

Искренне Ваша
Клара Фриленд».

Она прочла записку, передала ее Тоду, тот тоже прочел ее и вернул Феликсу. Все молчали. Записка была такая простая и дружеская, что довольный Феликс подумал: «А ведь я ее неплохо сочинил!»

Затем Тод сказал:

— Ну, говори, старина! Ты ведь хочешь поговорить о наших ребятишках, правда?

Господи, откуда он это знает? Но Тод ведь и правда был немного ясновидящим.

— Что ж, — начал Феликс, сделав над собой усилие, — разве вам не кажется, что вы напрасно путаете ваших детей в деревенские кляузы? Нам рассказывал Стенли...

Кэрстин спокойно прервала его, говорила она отрывисто, капельку шепелявя:

— Стенли не может этого понять.

Она взяла Тода под руку, по-прежнему не сводя глаз с лица деверя.

— Может быть, — признал Феликс, — но не забудьте, что Стенли, Джон и я выражаем обычную и, я бы сказал, разумную точку зрения.

— С которой мы, боюсь, не имеем ничего общего.

Феликс перевел взгляд с нее на Тода. Тот склонил голову набок и, казалось, прислушивался к каким-то далеким звукам. Феликс почувствовал раздражение.

— Все это прекрасно, — сказал он, — но, право же, вам не мешает подумать о будущем ваших детей с какой-то более объективной точки зрения. Не можете же вы хотеть, чтобы они бунтовали прежде, чем сами увидят жизнь своими глазами.

Она ответила:

— Наши дети знают жизнь лучше, чем обычная молодежь. Они с ней сталкивались непосредственно, видели ее изнанку. Они знают, что такое производ в деревне.

— Да, конечно, — сказал Феликс, — но молодость есть молодость.

— Они достаточно взрослые, чтобы понимать, где правда.

Феликс был поражен. Как сверкали эти суженные глаза! Какая убежденность звучала в

этом чуть-чуть шепелявившем голосе!

«Я же останусь в дураках», — подумал он и только спросил:

— Ну, а что вы ответите на это приглашение?

— Пусть едут. Сейчас это им очень кстати.

В этих словах Феликсу почудилась угроза, Он отлично понимал, что она вкладывает в них какой-то свой, особый смысл.

— Когда нам их ждать? Во вторник, пожалуй, для Клары удобнее всего, когда кончится очередное нашествие гостей. А на вас с Тодом нечего и рассчитывать?

Она забавно сморщила губы в подобие улыбки.

— Пусть решает Тод. Тод, ты слышишь?

— На лугу! Она там была и вчера, в первый раз в этом году.

Феликс взял брата под руку.

— Ты прав, старина.

— Что? — спросил Тод. — А!.. Пойдемте домой. Я ужасно хочу есть...

Иногда из ясного неба вдруг упадет несколько капель дождя, зашелестит листва, а вдалеке послышится глухой рокот. Путник подумает: «Где-то поблизости гроза». Но кругом сразу же снова станет тихо и безмятежно, и путник, забыв о том, что он недавно подумал, беззаботно пойдет дальше.

Так было и с Феликсом, когда он возвращался на автомобиле Стенли в Бекет. Ну и лица у этой женщины, у юных язычников, да и у потустороннего Тода!

Вокруг этой маленькой семьи в воздухе пахло грозой. Но автомобиль неслышно скользил по дороге, сиденье было мягким, за окном мирная прелесть зеленых лугов, церкви, усадьбы, домики среди вязов, медленные взмахи крыльев грачей и ворон — все это убаюкивало Феликса и вселяло в него покой; дальние, глухие раскаты грома больше не были ему слышны.

Когда он вернулся, Недда поджидала его в аллее, разглядывая статую нимфы, поставленную Кларой. Это была хорошая вещь, выписанная из Берлина, который славится скульптурой, к тому же она начала покрываться патиной, словно стояла тут уже давно, — милое создание с опущенными плечами и скромно потупленным взглядом. На голове у нее примостился воробей.

— Ну как, папочка?

— Они приедут.

— Когда?

— Во вторник, но только дети.

— Ты мог бы мне что-нибудь о них рассказать.

Но Феликс только улыбнулся. Ему для этой задачи не хватило бы изобразительного таланта, а

так как он своим талантом гордился, то не хотел его компрометировать.

ГЛАВА VIII

«Шишки» стали прибывать в эту субботу только после трех часов дня. Сперва из Эрна приехали в автомобиле лорд и леди Бритто; потом — тоже в автомобиле — из Джойфилдса сэр Джералд и леди Маллоринг; первый послеобеденный поезд привез трех членов Палаты Общин, любителей гольфа: полковника Мартлета, мистера Слизора и сэра Джона Фанфара — с супругами; американку мисс Боутри, которая бывала всюду, и пейзажиста Мурсома — низенького, очень плотного человека, который нигде не бывал и хранил гробовое молчание, за которое потом мстил. Поездом, с которым никого не ждали, прибыла Литература на Службе Обществу в лице Генри Уилтрема — о нем шла слава, будто он первый задумался о земельном вопросе. И самым последним поездом приехали прогрессивный издатель Каскот — как всегда, торопясь — и леди Мод Ютред — как всегда, сияя красотой. Клара была очень довольна и, переодеваясь к обеду, сказала Стенли, что на этот раз у нее представлены все оттенки взглядов на земельный вопрос. Но это ее не страшит, если она

сумеет не дать сцепиться сэру Генри Уилтрему и Каскоту. Насчет членов Палаты Общин можно не беспокоиться. Стенли это подтвердил.

— Им, наверно, уже опротивела болтовня. Но как быть с Бритто — он умеет быть неприятным, а Каскот нещадно отделал его в своем листке.

Клара это помнит и поэтому посадит рядом с Каскотом с одной стороны леди Мод, а с другой — Мурсома, так что за обедом ему ничто не угрожает, ну, а потом надо уж Стенли быть начеку!

— А куда ты посадишь Недду?

— С полковником Мартлетом, а с другой стороны у нее сэр Джон Фанфар: они оба равнодушны к молоденьким.

Впрочем, она надеется, что завяжется настоящий спор, пора уже сдвинуться с мертвой точки. Жаль упускать такой превосходный случай!

— Гм-м... — пробурчал Стенли. — Вчера вечером Феликс высказывался чрезвычайно странно. Он, того и гляди, наговорит лишнего

— Ну что ты! — Клара взяла под защиту Феликса. — Он человек воспитанный.

Ей кажется, что на этот раз может получиться нечто значительное, плодотворное для всего государства. И, следя за тем, как Стенли пристегивает подтяжки, она изливала ему свои восторги. Как великолепно представлены здесь все точки зрения! Бритто, считающий, что дело зашло

слишком далеко и какие бы второстепенные меры мы ни принимали, все будет бесполезно, так как мы не можем конкурировать с Канадой и ее огромными посевными площадями; хоть сама Клара с ним не согласна, все-таки она должна признать, что во многом он прав; он человек очень способный и когда-нибудь может... кто знает?.. Потом — сэр Джон, он ведь, можно сказать, основатель новой консервативной политики: надо помочь фермерам в покупке земли, которую они арендуют. А полковник Мартлет — выразитель политики более старых консерваторов: что же, черт возьми, станет с крупными землевладельцами, если у фермеров будет своя земля? Он ни за что не поддержит такой закон, Клара в этом убеждена. Да он ей и сам говорил: «Возьмем, например, поместье моего брата Джеймса. Если мы проведем такой закон и фермеры им воспользуются, дело кончится тем, что вокруг его дома не останется и акра принадлежащей ему земли!» Вполне возможно. Но ведь то же относится и к Бекету!

Стенли что-то буркнул.

— Вот именно, — продолжала Клара. — Поэтому так хорошо, что у нас гостят и Маллоринги, — они занимают такую твердую позицию, и, пожалуй, они правы: возможно, все дело упирается в образцовые методы землевладения.

— Гм-м... — проворчал Стенли. —
Послушай, что скажет на это Феликс.

Клара считала, что это не играет роли. Важно, чтобы все высказали свое мнение. Даже мнение мистера Мурсома будет полезно услышать, — жаль, что он так ужасно молчалив. Но ведь у него, должно быть, очень много мыслей, раз он целый день сидит и рисует деревенские виды.

— Он просто чванный болван, — сказал Стенли.

Да, но Клара не хочет проявлять нетерпимости. Поэтому она так рада, что заполучила мистера Слизора. Если уж кто-нибудь знает, что думают радикалы, то это он; у него можно удостовериться в той подоплеке, которую мы всегда подозревали: истинная опора радикалов — это городские слои, поэтому они не могут зайти в своей земельной политике слишком далеко — побоятся обвинения в том, что забыли интересы города... Ведь в конце-то концов средства на решение земельного вопроса придется давать из своего кармана городским жителям, а зачем им это? Стенли замер и перестал поправлять галстук. Да, жена его — проницательная женщина.

— Вот тут ты попала в точку, — сказал он. — Уилтрем ему всыплет как следует!

— Конечно, — подтвердила Клара. — Как прекрасно, что мы заполучили Генри Уилтрема с

его идеализмом и высоким налогом на импортный хлеб; он прав, что его не заботит вопрос о судьбе городской промышленности — она ведь все равно хиреет, что бы там ни кричали радикалы и грошовая пресса, — пока мы не станем выращивать свой хлеб. Это очень здравая мысль.

— Да, — пробормотал Стенли, — и если он сядет на своего конька, весело будет мне с ними со всеми в курительной! Я-то знаю, во что превращается Каскот, когда засучит рукава.

Глаза у Клары загорелись; ей очень хотелось поглядеть на мистера Каскота, когда он засучит... то есть послушать, как он излагает теорию, с которой он без конца выступает в печати, — о том, что с земледелием в стране покончено, оно сменилось огородничеством и изменить это положение могла бы только революция. Она слыхала, что Каскот так резко и ожесточенно спорит, словно от души ненавидит своих противников. Она надеялась, что ему дадут эту возможность... может, Феликс его раззадорит.

— А как насчет дам? — внезапно спросил Стенли. — Они-то выдержат все эти политические прения? Надо ведь и о них подумать.

Клара и об этом не забыла. Кинув прощальный взгляд на себя в дальнее зеркало через дверь спальни, она сказала:

— Думать, что дамы не интересуются

земельным вопросом, — грубая ошибка. Леди Бритто — в высшей степени умная женщина, а Милдред Маллоринг знает каждый дом у себя в поместье.

— То и дело сует в них свой нос, — пробурчал Стенли.

Леди Фанфар, миссис Слизор и даже Хильда Мартрет интересуются тем, чем заняты их мужья, а мисс Боутри интересуется всем на свете. Что же касается Мод Ютред — ей все равно, о чем говорят, лишь бы ее приглашали; Стенли нечего беспокоиться, все сложится отлично: будут достигнуты важные результаты и сделан важный шаг вперед. Произнеся эти слова, она повела пышными плечами и вышла. Клара не признавалась никому, даже Стенли, в своей заветной мечте: ей хотелось, чтобы тут, в Бекете, под ее эгидой был заложен фундамент проекта, который «возродит земледелие», каков бы он ни был, этот проект; Стенли над ней только посмеялся бы, хотя потом, когда это осуществится, он, несомненно, станет *лордом* Фрилендом...

Недде в этот вечер за обедом все было ново и необычайно интересно. И не потому, что она не привыкла к званым обедам или умным разговорам — у них в Хемпстеде бывало много гостей и произносилось много слов, но тут и люди и слова были совсем другие. После первого румянца

смущения и беглого осмотра двух «шишек», между которыми ее посадили, взгляд ее невольно стал блуждать по сторонам, а уши улавливали лишь обрывки того, что ей говорили соседи. Впрочем, она скоро обнаружила, что от полковника Мартлета и сэра Джона Фанфара ей и этих обрывков было более чем достаточно. Ее взгляд поверх букета азалий то и дело встречался со взглядом отца, и они весело перемигивались. Раза два она пыталась переглянуться с Аланом! но он все время ел и сегодня вечером был очень похож на дядю Стенли, только молодого.

Что она чувствовала?.. Небольшие уколы беспокойства по поводу того, как она выглядит; какую-то подавленность и в то же время возбуждение, — ведь кругом так шумно, а ей подают столько разной еды и питья; явное удовольствие от того, что и полковник Мартлет, и сэр Джон Фанфар, и другие мужчины, особенно тот, симпатичный, с растрепанными усами, — казалось, что он вот-вот кого-нибудь укусит, — украдкой на нее поглядывают

Ах, если бы она была уверена, что они смотрят на нее не потому, что им кажется, будто она слишком молода для этого общества! Она чувствовала непрерывный трепет оттого, что вот, она, настоящая жизнь, тот настоящий мир, где говорят и делают что-то важное, значительное; слух

ее был насторожен, но в глубине души у нее, как ни странно, мелькала опаска, что ничего значительного здесь не скажут и не сделают. Она понимала, что это с ее стороны наглость. В воскресенье вечером дома разговаривали о загробном существовании, о Ницше, Толстом, китайской живописи, постимпрессионизме и могли вдруг вспылить и даже разъяриться из-за вопроса о мире, из-за Штрауса, правосудия, брака, Мопассана или поспорить о том, губит ли душу материализм. Иногда кто-нибудь из спорщиков вскакивал и начинал шагать по комнате. Но единственные два слова, которые она сегодня могла уловить, были фамилии двух политических деятелей, которых, кажется, никто не одобрял, кроме того симпатичного, готового кусаться. Раз она застенчиво спросила полковника Мартлета, любит ли он Штрауса, и была озадачена его ответом. «О да! Эти его "Сказки Гофмана" очень милы. А вы часто ходите в оперу?» Она, конечно, не знала, что тут же родившееся у нее подозрение крайне несправедливо: в правящих классах почти все, кроме полковника Мартлета, знали, что «Сказки Гофмана» написал Оффенбах. Но, помимо всего, она понимала, что ей никогда, никогда не научиться разговаривать, как разговаривают они, — так быстро, так безостановочно, не интересуясь, слушают ли тебя все или тот, с кем ты говоришь. Ей

всегда казалось, что слова твои предназначены только для ушей того, кому они сказаны, но здесь, в большом свете, она, очевидно, должна говорить только о том, что могут слушать все, и ей было ужасно обидно, что она не в силах придумать ничего достойного всеобщего внимания. И вдруг ей захотелось остаться одной. Ну как это нехорошо, неразумно, — она ведь столькому может здесь научиться. Однако, если хорошенько вдуматься, чему здесь было учиться? И, рассеянно прислушиваясь к словам полковника Мартлета, который рассказывал ей, как он почитает такого-то генерала, она почти с отчаянием поглядывала на человека, готового кусаться. В эту минуту он молчал, уставившись в свою до странности пустую тарелку, и Недда подумала: «У него очень славные морщинки вокруг глаз, правда, они могут быть признаком болезни сердца; мне нравится и цвет его лица, такой приятно желтоватый, но и тут, возможно, виновата печень. Все равно он мне нравится, жаль, что я не сижу с ним рядом, он какой-то настоящий». Эта мысль о человеке, о котором она ничего не знала, даже его имени, навела ее на другую: ничто вокруг — ни разговоры, ни лица, ни даже блюда, которые она ела, — не были настоящими.

Ей словно снился какой-то странный, наполненный жужжанием сон. Ощущение

призрачности не прошло даже тогда, когда ее тетка, взяв перчатки, поднялась и дамы перешли за ней в гостиную. Там, сидя между миссис Слизор и леди Бритто, напротив леди Маллоринг и стоявшей лицом к ней, опершись на рояль, мисс Боутри, она ущипнула себя, чтобы прогнать мучившее ее ощущение: ей казалось, что стоит женщинам остаться наедине с собой, как они замолчат и на губах у них застынет горькая усмешка. Интересно, будет ли эта усмешка у всех, когда они закроют за собой дверь своей спальни, или только у нее одной? На этот вопрос она не могла ответить и, разумеется, не могла задать его ни одной из дам. Недда поглядела, как они сидят и разговаривают, и почувствовала себя очень одинокой. Но тут взгляд ее упал на бабушку. Фрэнсис Фриленд сидела в стороне, на стуле из сандалового дерева, отделенная от других морем полированного паркета. Она сидела чуть-чуть улыбаясь и совсем неподвижно, если не считать непрерывного движения белых рук на черном шелке платья. К седым волосам бриллиантовой брошкой был приколот кусок «шантильи», концы его свисали позади изящных, немножко длинных ушей. А на плечах была ниспадавшая до полу серебристая накидка, похожая на кольчугу феи. Все, по-видимому, считали, что она не может принимать участие в беседе о «земельном вопросе» или об